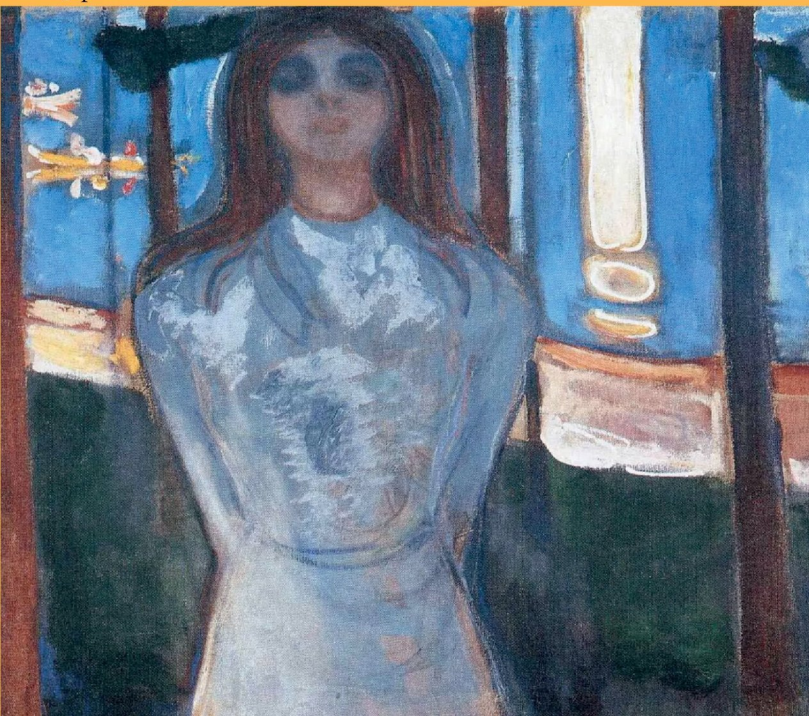
Дженет Фрейм

XX век
The BEST

Под крики сов

[роман]



Под крики сов
Дженет Фрейм

Аннотация
Дженет Фрейм. Под крики сов
Часть первая. Беседы о сокровищах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Часть вторая. Двадцать лет спустя
15. Тоби
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27. Цыпка
28
29
30
31
32. Дафна
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Эпилог. Кто-то из наших знакомых?
45

Аннотация

«Под крики сов» – проникновенная история детей семьи Уизерс, живущих в маленьком городке в Новой Зеландии в середине XX века. Тринадцатилетняя Фрэнси мечтает стать оперной певицей, но вынуждена бросить школу и устроиться на работу. Жизнь Тоби омрачена приступами эпилепсии, пугающими сестер и окружающих. Самая младшая, Тереза, пытается избавиться от детского прозвища Цыпка. А невероятное воображение Дафны, которая мечтает стать писательницей и искренне верит в волшебство, обрекает ее на психиатрическое лечение. Их взросление – это череда душевных травм, потерь, изоляции, но также примеров силы духа и возникающей надежды, что даже в самые темные моменты в жизни можно найти свет.

Дженет Фрейм
Под крики сов

© Janet Frame, 1960
Школа перевода В. Баканова, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

С пчелкой я росу впиваю,
В чаще буквиц отдыхаю;
Там я сплю под крики сов,
А в тиши ночных часов
На крылах летучей мыши
В теплом мраке мчусь все выше.

Уильям Шекспир, «Буря» [1]

---

[1] Примечания: 1
Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник

Часть первая
Беседы о сокровищах

1

Ранний день под щебет птиц, и крапивник с дудочкой на облаке, словно мальчик из стихов, бросай свою дудочку, счастливую дудочку. Там бобовые цветы распустились, горохово-зеленое буйство травы, рой насекомых вьется головокружительно высоко; ползучая кружевная шаль в вязаной накидке из роз; ах, краткие веселые часы насекомых, резвящихся на искалеченных былинках и на лице первого живого цветка; и я посадила семена моркови, а они так и не взошли, потому что ветер принес разрушительное заклятье; ветер теплый, был теплый, и дни наверху гремели незаметно, взрывая атомы белоснежно-черных бобовых цветков и кремовых роз, подтрунивая над последними инстинктивными «кто-тут, кто-тут» летнего дрозда; и мне сказали накрыть семена моркови тонким, как хлопок, слоем земли, но они провалились слишком глубоко или засохли, а мошка поселилась среди бобов, которые потом зацвели в полуночном бархате, и я подумала, что должна была знать, которая мысль та самая, перед уловкой судьбы; пышное лето, да, и все же какой прок в зеленой реке, в зо-

лотом месте, если время и смерть пришпилили человека к карману моей земли и, не зная отдыха, уносят зеленые сплошные ивы и белую розу, и бобовые цветы, и утреннюю затуманную песню, рожденную в крапчатой грудке дрозда?

И вот огромный, страдающий несварением Санта-Клаус, у порога Рождества снежный курган, и его не растопят ни летний день, ни человеком сотворенное солнце, и он такой, кажется ровно таким, чтобы подходить по размеру; а теперь давайте купим рождественскую открытку и напишем некролог, на веревочке или липкой ленте; завернем нашу жизнь в целлофан, потом платок и открытка; купим гусеницу, которая уже завелась и ползет назад по нашим дням и ночам. Поет Дафна из мертвой комнаты.

2

Их бабушка-негритянка когда-то давным-давно была рабыней из южных штатов Америки, ходила в длинном черном платье, с пушистыми волосами и блестящей жирной кожей. Она часто пела о своей родине:

Унеси меня к старушке Вирджинни,
там хлопок, кукуруза и картошка растут,
там птички весной так сладко поют,
вот куда без конца мое старое сердце стремится.

И теперь, после смерти, она вернется в свою Вирджинни и будет гулять по хлопковым полям, и солнце будет блестеть в ее вьющихся волосах, похожих на шарик черного хлопка или распушившийся цветок чертополоха, в котором могли бы жить птицы, если бы хотели поселиться в черном мире.

Нет, ты должна съесть капусту, потому что на стене висят дуршлаги, через которые можно давить капусту, чтобы вытекла зеленая вода; хотя, если у тебя диабет, нужно пить зеленую воду, иначе ты, не ровен час, как твоя бабушка, потеряешь обе ноги и заведешь новые, деревянные,

и станешь держать их за дверью, в темноте, и у них не будет коленей и не будет пальцев, которыми можно шевелить.

Коленей?

Коленей?

Календарь?

Календари висят на стене, к ним пришпилены счета от бакалейщика, молочника и мясника; и как-то они ухитряются висеть там, собранные по дням и месяцам года, пронумерованные, словно каторжники, на случай побега.

Но они все равно сбегают, неизменно сбегают.

— Время летит, — сказала миссис Уизерс. — И это календарь, ничего общего с коленями, глупенькие вы детишки. Фрэнси, Тоби, Дафна, Цыпка, пейте свою капустную воду, иначе потеряете обе ноги, как ваша бабушка.

3

— А я не хочу в школу, — сказал Тоби. — Я хочу пойти на свалку и что-нибудь поискать.

Фрэнси, Тоби, Дафна и лишь иногда Цыпка, поскольку она была слишком мала и к тому же копуша, искали себе сокровища на свалке среди бумажек, стали, железа, ржавчины, старых ботинок и прочего хлама, который жители города выбрасывали, так как он больше не годился ни для использования, ни для продажи. Местность там напоминала раковину с зеленым пушком из травы и сорняков над кучами мусора. Дети уютно устраивались в канаве, иногда прогретой кострами, с помощью которых городской совет приближал кончину отверженных материальных благ, и они могли видеть небо, переходящее в голубую дымку или серую рябь, и слышать, как тяжелая пихта, склонившись над лощиной, качается на ветру и разговаривает сама с собой — пиххх-пххх, — будто пытаясь произнести свое имя, и роняет ржавые иголки, которые проскальзывают в желто-зеленую раковину и делают крошечные стежки на краях живой и обжитой раны, где ребята нашли свои первые, самые

счастливые сказки.

И маленькую зеленую изъеденную книгу Эрнеста Доусона, который шептал наедине своей Кинаре: Прошлой ночью, ах, ночью, ее губы и мои.

Это про любовь, и понять могла только Фрэнси, которая *уже поспела*, как говорила шепотом в ванной их мать, а Дафне еще было невдомек, что это такое и как она сможет носить их незаметно, ведь люди станут толкать друг друга в бок, мол, погляди-ка.

— У тебя будет капать кровь, когда идешь, — сказала Фрэнси.

Не найдясь с ответом, Дафна сказала:

— Рапунцель, Рапунцель, распусти свои волосы, — цитируя принца, который поднимался по золотой шелковистой косе на вершину башни, так было написано в книжке, найденной среди мусора. От нее разило вонью, черви все еще поедали желтые страницы, покрытые слоем пепла, и ее выбросили, потому что язык книги стал непонятным, а люди больше не могли ее прочесть и найти дорогу в ее мир. На обложке крупными буквами значилось «Братья Гримм». Там говорилось про Золушку и ее уродливых сестер с отрезанными пятками и пальцами ног,

у них шла черная кровь, цвета белоснежного бобового бутона.

— Я не хочу в школу, — сказал Тоби. — Я хочу пойти на свалку и поискать другую книгу.

В тот день в школу должна была прийти медсестра. Она носила серый костюм, и, поскольку славилась своей суровостью, воображение детей смешало ее образ с серой акулой-нянькой, смертоносной, неслышно плывущей вслед за тобой, чтобы слопать в один укус; впрочем, акулы встречаются вроде бы только неподалеку от Сиднея.

В каждый визит медсестра осматривала грязнуль и шепталась с ними через картонную трубку. Тридцать два, пятьдесят пять, шестьдесят один, шептала она; а дети, коль уж попали в ряды осматриваемых грязнуль, должны были повторять: тридцать два, пятьдесят пять, шестьдесят один; и если они повторяли правильно, это значило, что у них есть слух и можно не протыкать им уши. Тогда медсестра брала палочку, похожую на те, которыми едят мороженое, и очень-очень осторожно раздвигала пряди волос у ребенка, чтобы проверить, не обитает ли там кто-нибудь. Также она смотрела на одежду учеников, определяя, как часто ее стирают, потрепанные вещи или новые. А потом она ставила грязнуль перед

бумажным квадратом и указывала на печатные буквы, чтобы дети называли этот перепутанный алфавит, и они должны были разглядеть мелкий шрифт, даже мельче, чем в среднем столбце Библии, где написаны «См. Рим., 1 Тим., Втор.» и другие загадочные слова.

Тоби все это терпеть не мог. Даже боялся. В докторской книжке, которую мать хранила на платяном шкафу, Тоби видел изображения многолапых существ, разгуливающих у человека в волосах, и как на лице появляются красные пятна, и искривленные ноги. Тоби сам был болезненным ребенком и каждый раз после еды принимал чайную ложку лекарства, залитого водой, пока его мать не узнала, что означает надпись на рецепте. И тогда…

— Бромид, — сказала она. — Наркотик.

Поэтому, когда им приносили пузырек с лекарством, а потом еще и еще один, мать Тоби говорила:

— Никто из моих детей, никто из моих детей не будет пить эту гадость.

Она ломала сургучную пломбу, срывала пробку и выливала густую оливковую жидкость.

Тоби лучше не становилось. Он ходил в школу, садился в последнем ряду и, склонив голову на-

бок, силился понять, что написано на доске и что учитель Энди Рид объясняет на уроке истории.

Были войны с маори, и белые люди захватили участок земли, — а насколько большой участок, задумался Тоби. Они строили дома на участке и по утрам обходили границы участка, касаясь каждой второй изгороди и срывая каждый третий цветок бархатцев. Но, говорят, раньше на этом участке земли стоял лес каури, и только буря могла облететь его за минуту, вырвав каждое второе и третье дерево, как волосинки.

— Тогда правительство было хорошее, — говорил Энди.

А иногда он говорил, что правительство было плохое.

А еще он говорил о войне и мире, которые никогда не случались в одно и то же время. Было, допустим, шесть мирных лет, когда маори и белые люди проводили дни и ночи напролет, улыбаясь друг другу, и терлись носами, и обменивались нефритом, клубнями кумары и каури, и женились, и ходили на пикники, и кипятили воду, и пили чай, и ели рыбу, и смеялись, и никто никогда не сердился.

Пока шесть лет не заканчивались. В канун Нового года белые и смуглые люди, вероятно,

стояли на пороге Нового года, так же как стоят в очереди у кинотеатра или у площадки для крикета, ожидая начала фильма или игры; и матери предупреждали детей: помните, вам нельзя смеяться и что-либо обменивать. Шесть лет мы будем убивать. Это Война.

Тоби не мог представить годы войны, но Энди Рид всем их описал, а Энди Рид знал все. Еще он говорил, что была Столетняя война, когда люди, наверное, рождались с сердитыми лицами и умирали с сердитыми лицами, и ни единой улыбки не появлялось в промежутке.

В общем, историю — со всеми этими королями, хорошими и плохими, в париках и белых обтягивающих штанах для танца менуэт — понять непросто; а еще были два принца, которые сидели в ужасной башне и слушали, как вода капает из подземной пещеры им на лица, на шеи и на головы, торчащие из прекрасных пышных воротников, словно цветочные бутоны. Тоби их, конечно, жалел, но никак не мог понять историю, не мог понять, зачем кому-то все время нужно больше земли и золота; а иногда он не мог понять, что говорит учитель, и не мог прочитать слова на доске. Именно поэтому он и не хотел идти в школу в тот день, когда приходила медсестра.

Тоби часто болел и пропускал занятия. Когда он болел, его рука дрожала, будто ей холодно, и Бог или Иисус набрасывали ему на голову темную мантию. Он боролся с этой мантией, пытался раздвинуть бархатные складки, размахивая руками и ногами в воздухе, пока солнце не сжаливалось над ним и не спускало ему ослепительного светоносного журавля, который забирал, но, увы, всегда сохранял где-то на небе, как думал Тоби, эту мантию удушливого навязчивого сна. И он открывал глаза и видел рядом свою мать, ее большой живот и разводы из муки и воды, напоминающие карту, на ее фартуке из мешковины.

И тогда он плакал.

Бархатная мантия возвращалась снова и снова, поэтому всякий раз, когда у Тоби дергалась рука или нога, мать бросалась к нему и спрашивала:

— Тоби, как ты?

Или Энди Рид в школе говорил:

— Тебе лучше полежать, Тоби Уизерс. Тогда, быть может, получится это остановить.

— Это?

Неужели Энди Рид понял, что произошло и как появилась мантия с частоколом из складок? Знал ли он, почему некоторым людям достается уединенная и одинокая ночь, в собственной комнате,

но без окна, через которое могли бы заглянуть звезды, названные одной женщиной в лохмотьях зодиаком?

Итак, Тоби не пошел в школу в тот день, когда приходила медсестра. Он попрощался с матерью и отцом и сказал:

— Ладно, у меня есть носовой платок, и, если начнется, я их предупрежу.

И он побежал, обогнав Дафну. Дафна была рада, потому что не хотела находиться рядом с ним, когда это произойдет; вдруг это случится, а поблизости только она, и будет смотреть, как он умирает или задыхается, как дергаются его руки, смотреть на его лицо ужасного цвета шелковицы, на закатившиеся глаза, белые, словно у мертвой птицы, которую Дафна видела в лавке. И все же там, на мокрой стороне улицы, глядя на Тоби, шагающего впереди, и на живую изгородь из африканской дерезы, увешанную ягодами, как грошовыми апельсинами, а если подойти слишком близко, то надо низко-низко пригибаться, она хотела стряхнуть чувство одиночества; поэтому догнала Тоби и отправилась вместе с ним на свалку искать вещи. Они нашли велосипедное колесо и автомобильную шину. Внутри автомобильной шины была стопка бухгалтерских книг,

заполненных надписями и числами, аккуратно выведенными красивыми синими чернилами; и каждая страница казалась детям экспонатом музея, который нужно хранить под стеклянным колпаком, как подписи первооткрывателя или губернатора.

Дафна собрала книги и положила себе на колени, поглаживая их, будто драгоценность.

— Это сокровища, — сказала она. — Лучше фольги.

— Нет, — сказал Тоби, — тут просто цифры, всякие взрослые суммы.

— Но они выглядят как сокровища. Почему их выбросили? Когда вырастаешь, начинаешь работать с сокровищами, так и должно быть.

— Нет, они из банков, — сказал Тоби. — Где носят полосатые костюмы и ходят с красными лицами в жару.

И он вырвал несколько страниц из книг, хотя Дафна сопротивлялась, и сделал из них самолетики, а один лист намочил, чтобы проверить, не станет ли он невидимым.

А потом они разговаривали о никому не нужных сказках, которые швырнули в кучу пепла на сожжение. Там ведь, честное слово, был маленький человечек, размером с большой палец. Он

правил лошадью, сидя у нее в ухе и приговаривая «ну» или «пшла». А еще был король, который жил в стеклянной горе и мог увидеть свое отражение в семидесяти разных зеркалах одновременно. И стол, который вырос из-под земли, как в больших театрах; говорят, орган вырастает из-под пола, и на нем играют музыку, пока люди не рассядутся по местам и не начнется «Боже, храни королеву».

А чтобы стол исчез, маленькой девочке из сказки достаточно было произнести:

— Козочка, давай
Столик убирай.

— К вопросу о столиках — я проголодалась, — сказала Дафна. — Что у нас есть?

У них не было ничего. Они решили, что, вероятно, скоро обед, потому взяли одну страницу с синими цифрами для стеклянного колпака на случай, если она действительно окажется сокровищем, и направились домой мимо лавки с фруктами и овощами.

Дафна вошла в магазин, где всегда было мокро, как после уборки, капуста вечно желтела, а фрукты покрывались пятнышками; и, пока продавщица не видела (китаянка, у которой другие похороны, свадьбы и церкви, не такие, как у Тоби

и Дафны), Дафна сунула под мышку яблоко и выскользнула на улицу, теперь у них с Тоби оказалось по половинке яблока, они поделили его по справедливости, ведь яблоко-то принадлежало Дафне, и Тоби досталась зеленая кислая половина с толстой кожурой, а Дафне — румяная; впрочем, дабы подчеркнуть стремление к справедливости и важность молчания, она позволила брату идти по солнечной стороне улицы и греться, пока сама шагала в тени.

А днем они оба пошли в школу. Медсестра была там. Она собрала учеников, написала их имена красными чернилами на белых карточках и дала Норрису Стивенсу записку про его миндалины, велев отнести домой. Он сказал, что ему надо удалить миндалины, и все завидовали.

— Почему тебя не было в школе утром? — спросила мисс Драут у Дафны.

— Я болела, — сказала Дафна.

А еще:

— Началось, — ответил Тоби Энди Риду.

И Тоби велели полежать на кушетке в медпункте, а на перемене дали выпить молока через соломинку.

4

Их городок под названием Уаймару, маленький, как мир, стоял ровно на полпути от Южного полюса до экватора, то есть на широте сорок пять градусов. К северу от города был каменный памятник с золотыми буквами:

Остановись, путник. Сейчас ты на полпути между Южным полюсом и экватором.

Каково стоять на сорока пяти градусах?

Так же, как в любом другом месте.

Уаймару был респектабельным городом, население которого росло так быстро, что мэру постоянно приходилось созывать специальные собрания городского совета, о которых сообщалось в местной газете, или, в народе, газетенке. Решали, нужно ли выставить заповедники, где росли местные виды деревьев и кустарников, на продажу под участки для строительства жилья, а кустарники вместе с детьми, игравшими среди зелени после школы, выкорчевать и посадить в другом месте; однако жители предложение мэра отвергли, в газету посыпались письма, за ними последовали угрозы отставки и созыв особого собрания испуганного благоустроительного

общества, высадившего много кустов; потом демонстративное собрание клуба «Построй себе дом»; после чего опустилась, словно мягкая накидка, тишина, а кустарники и дети (включая Уизерсов) продолжили счастливо расти на окружающих город холмах.

Молодые члены совета, покачав головами, сказали:

— Прогресса никакого. Северные города развиваются, становясь больше и больше, а мы тут, на юге, застыли на месте.

— Мы отстаем, — говорили они.

В какой же гонке мы отстаем?

Приходили в газету и письма от миссис Уизерс, которая назвалась местной птицей Туи, намекая, что местный куст должен остаться на своем холме. Иногда, если писала про куст, она называла себя Миро, маленькой красной ягодкой. Она показывала письма детям, и те, хоть и не могли ничего понять, знали, что их мать что-то да значит, и теперь в школе хвастали наравне со всеми.

— У моего отца есть машина.

— Мой дядя рубит деревья быстрее всех.

— Моя мама пишет письма в газету.

— Да, — говорила миссис Уизерс, облизывая край конверта, чтобы запечатать. — Я их порву.

Боб, ее муж, отпускал грубое замечание.

— Да, я их порву. Растопчу, сровняю с землей. Нас, женщин, нельзя недооценивать.

Иногда она подписывалась не Туи, а Матерью Четверых; а из Миро, маленькой красной ягодки, становилась Презирающей или, незатейливо и универсально, просто Матерью.

— Вижу, мне ответила Мать Троих, — говорила она. — Поставлю ее на место.

Ах, если бы деликатная Эми Уизерс могла хоть кого-нибудь поставить на место!

Потом ее муж, собиравшийся на какую-то встречу, кричал из спальни:

— Где мой лучший галстук в клетку? Мне что, всю жизнь его ждать?

И Эми Уизерс перебирала рубашки и носки, пока ее не сразит великолепие галстука в клетку.

— Вот твой галстук, Боб.

Она боялась мужа. Она шикала на детей, когда Боб возвращался домой с работы или когда по радио передавали заседание парламента.

— Достопочтенные джентльмены, — говорил Боб.

Достопочтенные джентльмены.

Он был лейбористом.

Впрочем, мы говорили о городе. Вы обязаны

прочесть буклет, который можно купить за пять шиллингов и шесть пенсов, во время распродажи за пять шиллингов, а в Рождество за шесть шиллингов. Буклет расскажет вам о городе самое важное и покажет фотографии: городских часов, застывших на без десяти три (правильное положение рук при вождении автомобиля, как говорит местный автоинспектор); дома с бегониями в Гарденс и растерянного человечка, который наверняка служит там садовником, держащего бегонию в цвету; фотографию роз в розовой арке и папоротников в папоротниковых зарослях; фотографию мясоперерабатывающего завода, его собственного сада с причудливыми клумбами, и цеха, где рядами висят свиньи с торчащими вперед крошечными копытцами; шерстяной фабрики, шоколадной фабрики, маслозавода, мукомольного комбината — все это символизирует процветание, и богатство, и жирную землю; и, наконец, фотографию береговой полосы с длинной дугой яростной и голодной воды, бушующим морем, как называют его дети, где нельзя поплавать, не опасаясь отлива, и потому плаваешь осторожно, так же, как живешь, между флажками; и берегитесь щупалец водорослей и гальки, которую снова и снова

засасывает в морскую пасть каждый раз, когда море делает ею вдох. Конечно, внутри волнолома есть бухта Фрэндли-Бэй, где можно плескаться, собирать ракушки и есть мороженое, купленное у Пег Уинтер, женщины-горянки, которая, как по обету, переезжает из города в город, оставляя за собой след из магазинов сладостей и мороженого, они будто вырастают из крошек или семечек, выпавших из ее кармана, и превращаются в красно-белые кафетерии со столами и стульями кремового цвета и высокими вращающимися стульями, что служат головокружительным аккомпанементом карамельному или клубничному молочному коктейлю.

И стеклянные стаканы наполнены шоколадом, темным или молочным, с фруктами или без них.

И все в стеклянном стакане бесценно.

5

Поет Дафна из мертвой комнаты.

Порой в этом мире мне казалось, что ночь никогда не кончится, а настоящий город не станет ближе, и я решаю постоять, чтобы перевести дух, под огромными эвкалиптами, которые живут в моей голове. Глаза привыкли к темноте, и когда я вижу высокие деревья с наполовину содранной корой и обнажающейся под ней белесой плотью стволов, я вспоминаю, как мой отец говорил мне, или Тоби, или Фрэнси, или Цыпке:

— Я с тебя шкуру спущу, ей-богу.

И я знаю, что дикий ночной ветер то же самое сказал эвкалиптам. Я с вас шкуру спущу.

И вот свисают полоски кожи. Я чувствую запах серо-голубых эвкалиптовых плодов, пять унций в каждом, ароматных и благородных, под моими ногами, и я снимаю туфли, и эвкалиптовые плоды впиваются мне в ноги, и я иду к побережью Уаймару, и море будет вползать в сны людей и струиться в их головах, выгрызая пещеры, где оно станет вздыматься, отдаваясь эхом, пока люди, изъеденные зеленым мотыльком, не начнут кричать внутри себя: помогите, помогите.

Тогда даже солнце движется из темноты в темноту, а я не солнце.

Да, даже солнце.

И почему после ночи будет такой сильный дождь?

Дождь.

На севере в зимнее время или в середине лета дождь капает на листы фольги, говорила моя мать, которая жила давным-давно там, где роятся осы, где неделя цветения и завезенные издалека пальмы; где нарциссы раньше, чем здесь, и раструбы у них более широкие и оборчатые, и где цветы более яркие, сочные, потому что растут в идеальных условиях памяти; и море, почему море более синее и теплое, а летом кишит акулами, о которых сообщают в газетах,

Видела на зеленой лужайке.

А тропинка в городе северном?

Тает под ногами.

И капли на серебряную фольгу.

И зимородок, яркий, сядет на телеграфный провод, будет выводить песню и разливаться серебряным сиянием.

Ах, Фрэнси, Фрэнси была в спектакле Жанной д'Арк, в шлеме и нагруднике из серебряного картона. Ее сожгли, сожгли на костре.

6

В полдень зал наполнился людьми: девочками в вязаных свитерах из белого шелка, каждая с пакетиком розового или белого кокосового льда по шиллингу из самодельного киоска с домашними сладостями; матерями, пахнущими так, будто они живут на закрытом складе талька и слежавшегося меха, и держащими в руках покупки с распродажи рукоделия: скатертями и полотенцами, украшенными вышивкой гладью, тамбурными и стебельчатыми стежками.

Был последний день учебного семестра и последний день Фрэнси в школе, хотя ей исполнилось всего двенадцать, после Рождества стукнет тринадцать. Она умела считать до тридцати по-французски. Она могла испечь слоеное тесто, тщательно смазывая его маслом перед каждым сгибом. Она умела варить саго, лимонное или розовое с кошенилью, и крупа превращалась из грязных зернышек, одинаковых, совсем одинаковых, пыльных и завернутых в бумагу, в лимонные или розовые жемчужины. Она знала, что капля йода окрасит банан в черный цвет и докажет содержание в нем крахмала; что вода

— это H_2O; что человек по имени Шекспир в лесу близ Афин придумал лунный сон. Однако при всей своей учености она так и не узнала, что отмеренное нам время всегда сокрыто и что люди похожи на стеклянные шарики в аттракционе; какое-нибудь нелепое обстоятельство выжимает из скупой и нищей человеческой судьбы непомерную оплату, а в обмен шарик получает привилегию кататься по светлому или темному ящику, пока не проскользнет в одну из маленьких нарисованных дырочек, где его ждет так называемое предназначение, и там всю жизнь катится по кругу из разочарований.

Фрэнси забрали в день спектакля, словно один из шариков, хотя она, все еще в серебряном шлеме и нагруднике, ждала, пока ее сожгут; и перекатили в новое место, где нет ни песенки про братца Жака, ни причастных оборотов, ни науки, ни бунзеновских горелок, ни Шекспира, и там я сплю под крики сов,

под крики сов, под крики сов,

в новое место, светлое или темное, опять домой, к маме и папе, и Тоби, и Цыпке; будто она снова маленькая, еще нет и пяти, даже в школу не ходит, и весь ее мир, словно зуб, лежит под подушкой, обещая превратиться в шестипенсо-

вик, и больше никакой школы. Никаких больше черных чулок, которые нужно купить, чтобы надеть вместе с панамой, и блузкой, и черными туфлями, а продавец нанизывает чеки в нескончаемом ритуале, облизывает кончик карандаша, прикованного потертой золотистой цепочкой к прилавку, аккуратно записывает цены, увеличивая числа, проверяет и перепроверяет, потому что Уизерсы пока не собираются платить. Все на примерку. Так, размышляя о своей влиятельности, продавец насаживает бумажный листок на металлический штырь, закрепленный в маленьком квадратике из дерева; затем осторожно отодвигает в сторону квадратик с пронзенной бумагой, без капли крови, впрочем, и сумма осталась целой и внушительной, а Фрэнси (или Дафна, или Тоби, или Цыпка) с ужасом смотрит на свершившуюся долговую сделку. Уизерсы приговорены. Скорее всего, их посадят в тюрьму. И продавец расправляет края чеков, и рукой его правит сила судьбы и осуждения.

— Вас устроит, — спрашивают дети, — до конца месяца?

— Конечно. До конца месяца.

Но в его уме дало корни сверкающее шило, копье, которое пронзает стопки чеков, чтобы сбе-

речь их до судного дня, до трубного гласа, когда мертвые восстанут из могил.

Однако найдется ли место для мертвых? Их нужно будет плотно упаковать, как сахарное печенье в пачке или как розовые печенья с глазурью между ними, которые Уизерсы не могли себе позволить, разве что для тетушки Нетти, которая проезжает мимо на поезде.

Итак, для Фрэнси больше нет черных чулок, которые нужно найти и заштопать, или школьной формы, которую нужно оттирать губкой, или панамы, которую нужно отмывать белилами с водой, и времени, говорящего: можешь идти быстрее? А следы так и не сошли, и Фрэнси плакала, потому что мисс Леггет осмотрела шляпы, указала на грязные и мятые и сказала:

— Позор вам. А теперь марш-бросок, девочки, пальцы ног касаются пола, марш-бросок. Все, кроме Фрэнси Уизерс.

Фрэнси Уизерс грязная. Фрэнси Уизерс бедная. Уизерсы не выходят в свет по выходным, они не живут в Саут-Хилле, у них нет пылесоса, они не учатся танцевать или играть на фортепиано, они не устраивают вечеринки в день рождения, их фотографии, сделанные в студии «Деликатес», не выставят в пятницу на витрине для всеобщего

обозрения.

У Фрэнси Уизерс есть брат, очень низкорослый. Она не смогла принести китайский шелк для шитья, ей пришлось взять обычный шелк, потому что она бедная. Ее мать никогда не носит нарядной одежды. У них нет нарядов, а у Фрэнси нет сменной обуви, и штаны у нее не из *настоящего* черного итальянского сукна.

У нее нет школьного пиджака с монограммой.

Но Фрэнси Уизерс — Жанна д'Арк, и она пела в саду:

С пчелкой я росу впиваю,
В чаще буквиц отдыхаю;
Там я сплю под крики сов,
Под крики сов, под крики сов.
Но я больше не засну под крики сов.

На кипарисах и кордилинах живут совы, и они кричат «у-ху, у-ху», иногда ночью из-за деревьев кажется, что дождь идет вечно и солнца больше не будет, а только «у-ху» и темнота.

А для Фрэнси день, когда она покинула школу, будет навсегда тем днем, когда все завтракали, а отец уходил на работу, от него пахло табаком, мылом для бритья и порошком, которым он присыпает ноги.

— В какую смену, Боб?

— В позднюю, Эми. Дома к десяти.

Но очень часто он называл ее не Эми, а просто матерью или мамой, как будто она действительно была его матерью.

И она называла его отцом или папой, как будто, выйдя за него замуж, она обрела другого отца.

После дедушки Фрэнси.

И Бога.

— Да, в позднюю смену, Эми. Домой к десяти.

— Ох, папа, так ты никогда не выспишься.

— Если завтра будет выходной, я починю канализационную трубу.

— Ее нужно починить.

— Конечно, нужно. Я столько раз предупреждал, чтобы ты не сливала туда жир и прочую дрянь.

— Воду после мытья посуды я выливала во дворе, на розы, чтобы жучки не заводились.

— А вчера ночью?

— Я забыла, папа.

— Господи, нашла время! И держи детей подальше от свалки, в городе уже сплетничают, что они вечно играют на свалке. По-моему, они даже не отличают мусор от нормальных вещей.

— Хорошо, папа.

Он почти целует свою жену и удаляется, заворачивая на велосипеде за угол, а Эми стоит и смотрит ему вслед. Она вытирает руки о мокрый фартук, он всегда мокрый, большое мокрое пятно там, где она касается раковины, когда моет посуду.

На мгновение Эми, поскольку романтична, задумывается о себе и Бобе, и о том времени, когда он ухаживал за ней и даже пел, и что это была за песня:

Приходи-ка на мой дирижабль,
Приходи среди звезд полетать,
Приходи, обогнем мы Венеру
И отправимся Марс покорять;
Поцелуй наш никто не увидит,
И услышит нас Млечный путь,
Приходи-ка на мой дирижабль,
Чтоб у лунного моря уснуть.

Когда они гуляли по долине Ваикава, настолько близко к луне, насколько это возможно, им встретился старый маори, убегающий от призраков, и он крикнул: Доброй ночи, мисс Хеффлин, произнеся ее фамилию очень похоже на «небыль», и она рассмеялась.

Возможно, Эми задумается об этом на мгновение, или только в книгах, где пишут о зовущих лунах, люди о таком думают?

А потом дети идут в школу, а младшая играет на заднем дворе, это Цыпка, цыпленок, потому что она маленькая и смугленькая; и Фрэнси там, уже не маленькая, ей двенадцать, будет тринадцать после Рождества, и она бросила школу, чтобы пробиться в мир и преуспеть.

И быть частью дня, который навсегда.

Теперь Фрэнси думает, что сейчас девочки в школе идут на молитву. Начался новый семестр. Директриса будет стоять на трибуне и поднимать руку не для того, что призвать к тишине, ведь все уже притихли, а потому, что ей нравится так поднимать руку. Она большая, с бычьей головой и без шеи, и вы никогда не узнаете, что на ней надето под мантией, которая обволакивает ее, словно тайна. Она величественно стоит перед школой и говорит:

— Доброе утро, девочки.

А потом звучит национальный гимн и директриса поздравляет всех с началом нового семестра, поет вместе с ними, ну или открывает рот, как будто поет:

Господь, свою милость направь

На тех, кто стоит пред тобой,
На истинный путь нас наставь,
Даруй нам свою любовь,
И нас от беды защищай,
Благословеньем укрой.

— Господь, — говорит директриса после аминь, — очень-очень близко.

И еще таинственнее оборачивает мантию вокруг своего тела.

Затем она открывает Библию и читает о Нагорной проповеди:

— И, увидев множество людей, взошел он на гору.

— А теперь, — говорит она, — заповеди блаженства. Блаженны миротворцы и нищие духом и скорбящие, и как учил их Христос.

Затем они повторяют Молитву Господню, наизусть, со специально добавленными словами на случай Войны, чтобы воины не боялись; и они поют длинный гимн под управлением глухой учительницы музыки, которая читает по губам и приходится родственницей Бетховену; и в гимне так много стихов, что в жаркий день некоторые девушки падают в обморок или вынуждены выходить на прохладный воздух, а потом могут

хвастаться этим:

— Мне стало дурно. Пришлось уйти с собрания, когда пели длинный гимн.

О, дай мне ухо Самуила, поют они. Его часы держал малыш, маленький левит. Настоящие часы, тикающие, которые нарезают и раздают день, как вкуснейший пирог, или часы, которые наблюдают, как ты живешь, просиживая всю жизнь в темном доме, словно в ящике, на случай, если придет враг?

Печальный гимн, гимн про маленького левита, и некоторые девушки, хотя у них есть двухэтажные дома и машины с прицепами, будут плакать; однако, едва песнопения заканчиваются, вокруг них снова школа, и директриса ничуть не стала ближе к Богу; словно и не было ни Библии, ни Иисуса, восходящего на гору, где воздух прохладен и вереск тянется вверх и вверх; и Он проходит мимо мертвой овцы, которую съели ястребы, и нескольких живых овец, сидящих в траве неподалеку и жующих свою жвачку. И Он в самых красивых горах во всей географии, Южных Альпах, но на уроках никогда не учат писать их название, а только как выполнить штриховку да растушевку.

В общем, все проходит, словно наваждение,

а директриса стискивает мантию на груди и говорит:

— Девочки, в конце прошлого семестра осталось несколько темно-синих пальто и панам. Если на них никто не претендует, их следует передать в Китайский фонд помощи.

— Девочки, некоторых из вас видели на улице без перчаток или за беседой с мальчиками из старшей школы. Ах, девочки, девочки.

Директриса очень строгая.

Потом звучит марш «Инверкаргилл», и вскоре зал пустеет.

А дома Фрэнси застало вечное утро, где каждый звук громкий и странный. Кухонные часы, старые, принадлежавшие ее дедушке, тикают с благородной громкостью, уставившись на всех пустым темным глазом, куда нужно вставлять ключ, чтобы их завести. Впереди у часов есть дверца, а внутри лежат для сохранности квитанции и счета, лотерейные билеты и другие вещи, которые ни в коем случае нельзя терять, иначе Уизерсы предстанут перед судом или обанкротятся. И все же часы — это время, а время потеряно, оно обанкротилось, не успев начаться.

Фрэнси на кухне. Огонь горит с шипением, затем с шумом, пока не закроешь заслонку. Иногда

угольки трещат.

— Это газ, — объясняет миссис Уизерс. — В угле, который мы покупаем, его нет, только в угле, который твой отец приносит с работы.

— А он за это платит?

— Нет, Фрэнси, он просто несет домой то, что нам нужно.

В вечном утре за окном сидит птица на сливовом дереве, лает собака, голос пекаря зовет соседа и говорит: Вы получили в выходные свой хлеб? И слова сочатся сквозь остролистную изгородь, натыкаясь на несколько колючек, падают прямо в кухонное окно, слова твердые и красные, как ягоды остролиста, и пахнут хлебом, первоцветами и внутренностью чайника.

Да ведь *время* чаепития, утреннего чая, и миссис Уизерс сидит на ящике у огня и пьет чай с домашним печеньем, размоченным в блюдце; и прилив поднимается и топит печенье, и она спасает его, хотя размокшие кусочки падают на пол, и она макает остатки в чай. И волшебное кольцо крест-накрест, которое она сделала по краю старой спицей для украшения, рассыпается. Магический узор из крестиков, который она сделала по краю старой спицей, тоже рассыпается.

А время обеда все никак не наступит. Мир стоит

на месте, как горящая, испорченная пластинка, и мир пуст,

бело-голубой мешок, пустой, в нем нет людей, кроме миссис Уизерс и Цыпки в дальнем углу,

и мешок наполняется птицей на сливовом дереве, и словами пекаря: Вы получили в выходные свой хлеб?

и часами, которые, удушливо тикая, прыгают в мешке по кругу, гудят пчелиным роем и никогда не выйдут на свободу.

7

— Фрэнси, — сказал мистер Уизерс, — пойдет работать на шерстяную фабрику.

Было время чаепития. Вареные яйца со светлыми желтками, купленные в магазине, где яйца отбирают у кур и кладут в темноту, а на скорлупе делают синие надписи, чтобы добавить им ценности. Куры Уизерсов перестали нестись, и хотя им давали зелень и позволяли бегать по саду, и мололи для них ракушки, куры больше не несли яйца. Превратились в кур-пенсионеров. Боб Уизерс сердился, ночью ходил их гонять, а они застывали перед ним с распростертыми крыльями и скрюченными ногами, в какой-то судороге, и не шевелились, а Боб Уизерс злился и обзывал куриц, хотя и не такими уж бранными словами, потому что по соседству жил миссионер, который бывал на островах, и он, конечно, странный, ведь он загорал голышом, хотя на него глазели дети.

Мать с отцом не знали, что дети глазели. А Фрэнси знала, но не глазела, потому что она окончила школу, стала взрослой и готова пробиваться в жизни; кроме того, ей и не нужно было глазеть на соседа.

— У меня столько возможностей, дорогая Дафна, к чему мне такие зрелища?

— Тим Харлоу, — сказала Дафна.

И Фрэнси ее ударила. На самом деле родители Фрэнси волновались насчет Тима Харлоу, потому что Фрэнси, по словам миссис Уизерс, была молодой женщиной, готовой занять свое место в мире, и ей опасно встречаться с Тимом Харлоу или с кем-то еще. Ведь Фрэнси могла попасть в беду и опозорить родителей, и ей пришлось бы уехать на север, пока ребенок не появится на свет и все не уладится. И если соседи спросят о ней, миссис Уизерс будет трудно найти ответ. Ей придется выпалить:

— На каникулах. — И быстро сменить тему, заговорив о том, сколько муки класть в бисквит.

— Значит, Фрэнси, — сказал мистер Уизерс, — пойдет работать на шерстяную фабрику.

Фрэнси даже не стала доедать яйцо и лакомиться хлебом с маслом. Она выбежала из-за стола, бросилась в спальню и заплакала, как только осталась в одиночестве.

Дафна последовала за ней, но, когда попыталась открыть дверь спальни, поняла, что Фрэнси подперла дверную ручку стулом.

— Пусти меня, Фрэнси, — попросила она.

Фрэнси не ответила. Она плакала.

— Фрэнси, впусти меня, ты *должна* впустить, потому что у меня есть план.

Фрэнси открыла дверь и впустила Дафну, затем придвинула стул к двери.

— Почему они не идут штурмовать нас?

— Видимо, они совещаются. Фрэнси, ты *не пойдешь* работать на фабрику?

Две девочки толком ничего не знали о фабрике, но слышали, что много лет назад маленькие дети работали на заводах, годами не видя солнечного света, и когда их спасли, они были слепыми, как шахтерские пони, и их приходилось водить повсюду на кожаном поводке, который оставил шрамы на всю жизнь. О фабрике Фрэнси девочки тоже знали мало. Они знали, что каждое утро в восемь часов фабрика завывала, как пожарная сирена, значит, работницы фабрики приступили к работе. Они ехали на велосипедах, иногда по шестеро в ряд, хотя это было запрещено, по главной дороге, на север, порой ветер дул прямо в их лица, они ехали все дальше и дальше против ветра, который трепал им локоны, если только они не повязывали на головы цыганские платки, и у них распахнутые пальто, а лица задумчивые и неулыбчивые; и они везли кожаные корзинки

для еды, пристегнутые ремнями к багажникам велосипедов, или деньги в кошельке на пироги из соседнего магазина с засиженной мухами витриной и огромными, пыльными, пустыми пакетами; а на прилавке потрепанная ярко-розовая книга с лотерейными билетами, шанс изменить жизнь, первый приз — стиральная машина и второй, утешительный, пылесос; ехали все дальше и дальше девушки, на фабрику, которую даже не видно вдалеке, куда их гнала тайная сирена в головах, которая торжествующе звучала над всем городом, когда захватила каждый кусочек своей добычи. Казалось, фабричные девушки ехали в никуда против северного ветра или северо-западного, что душил их горячей пылью с равнин; или подгоняемые и преследуемые ветром с юга, уносящим снег, как говорила мать Фрэнси, и Фрэнси с Дафной знали, что снова и снова сотни девочек, ровесниц Фрэнси, будут томиться в заколдованной темной комнате, наполненной шерстью, будут пробираться через груды толстых, пахнущих пылью тюков, серых и коричневых, зеленых и золотых, и синих, как недоступное им небо. Некоторые девушки задохнулись из-за этих красок и умерли.

Внезапно перестав плакать, Фрэнси сняла

верхнюю часть костюма, маленькую блузку, полосатую, как обои, с крошечными розочками, что сшила тетя Нетти. Фрэнси посмотрела на себя в зеркало.

— Я взрослая, — сказала она.

У нее розовые выпуклости там, где у Дафны просто соски.

— Я взрослая и бросила школу, потому что нам не хватает денег. Не многие девочки моего возраста бросили школу, так ведь, Дафна? И не многие ходили на свидания с мальчиком, так ведь, Даффи? И не многим прислали бесплатную книгу о том, как стать оперной певицей, Даффи?

Дафна ее чуть не ударила, сестра чувствовала себя такой свободной из-за того, что выросла. Она застегнула пуговицу на платье, чтобы Фрэнси ничего не разглядела, и провела по зеркалу рукавом, чтобы стереть себя, свою плоскую грудь и прямые каштановые волосы; но исчезла только туманная дымка от ее дыхания, и она увидела свое лицо с зелеными глазами, уставившимися на нее из зеркала.

— Я тоже делала кое-что, чего не делала ты. Я собираюсь выиграть немного денег, пойти в школу, научиться важным штукам и никогда не выходить замуж, не умирать и не богатеть. Я знаю

«С пчелкой я росу впиваю», это песня из школы. С пчелкой я росу впиваю, в чаще буквиц отдыхаю.

— Ой, любой старый дурак знает эту песню.

И Фрэнси запела:

С пчелкой я росу впиваю,

В чаще буквиц отдыхаю;

Там я сплю под крики сов,

Под крики сов, под крики сов.

Это о волшебном духе летней ночи, такой ночи, как сейчас, на лужайке у куста пиериса и под аркой из роз, но…

— Даффи?

— Что, Фрэнси?

— Я не знаю.

— Я тоже не знаю.

Они обе заплакали и кинулись обнимать друг друга, а потом Фрэнси высморкалась, по очереди зажимая ноздри пальцем, как делал отец, и попала прямо на зеркало. Она его протерла.

— Как думаешь, папа и правда отправит меня на фабрику?

Дафна пыталась сказать ей что-нибудь ласковое, доброе и бесполезное, как их мать, когда у кого-то помялась школьная форма, а уже без четверти девять и некогда ставить утюг на плиту.

— Пусть ветерок вам складки разгладит, детки.

Ох уж этот ветерок, он никогда не держит слова.

И Дафна загадочно сказала Фрэнси:

— Ты ведь не знаешь, какие странности могут вдруг приключиться.

Тогда к ним обеим пришла красная, золотая и черная мысль, они переглянулись и произнесли ее:

— Велосипед.

— С аккумулятором.

— задней фарой

— передней фарой

— красного цвета, золотого цвета, черного цвета

— насос

— корзинка

— сумка с инструментами на серебряной круглой застежке

— ручной тормоз

— педали, звонок

— без тормоза

— нет, с тормозом. Или ты полетишь с горы кувырком и будешь как Тед Уэст, придется носить повязку на глазу до конца дней.

Но ах, кататься на велосипеде с ветерком, думали они.

8

На следующее утро мистер Уизерс зашел к Джо Кливли по дороге на работу и купил дамский велосипед, за десять шиллингов вперед и потом по пять шиллингов в неделю. Когда он забрал велосипед, то побоялся на него сесть, вдруг сломается, поэтому просто отвел домой. Конечно, подумал он, девушке нужен велосипед, чтобы ездить на фабрику, а платить частями куда лучше, чем выложить всю сумму за подержанный. Но он боялся велосипеда. Он боялся всего нового, не безделушек, которые покупаешь, оплачиваешь и берешь домой, чтобы называть своими, но при этом не нужно заполнять бланки и что-то обещать; а крупных вещей, вроде велосипеда и газонокосилки, когда надо подписывать бумагу, на всякий случай. И новизна велосипеда сияла, словно совесть, и каждое прикосновение грязных, запачканных углем и машинным маслом рук оставляло темное клеймо, которое, казалось, ничем не стереть, и откуда деньги, вот вопрос, откуда деньги?

Когда Дафна пришла домой из школы, Фрэнси встретила ее у ворот. Опираясь на свой велоси-

пед, чувствуя холодок от черной блестящей рамы, она позвонила в звонок, чтобы Дафна слышала. Звук разрезал воздух, как новый металлический ветряк. Фрэнси позволила и Дафне позвонить. А потом:

— Давай прокатимся, — сказала она.

Дафна бросила свои книги у куста пириса, и они вышли за ворота и катались с ветерком, а дома плавились, как комки жира, белые и красные комки, прилипшие к большой серебряной тарелке мира, по которому они ехали, Дафна и Фрэнси, и дул северный ветер, суливший дождь, и южный ветер, суливший в детском стишке:

Пусть у нас повалит снег.

Снег.

Фрэнси и Дафна ехали в красном, золотом и черном, блестящем загадочном черном, прочном и требующем наполнения, словно блеск новой туфельки; однако за ветром, дувшим в их лица, лежал совершенно другой мир снега, бесцветный, он подкрадывался все ближе, сначала дуновением южного ветра, затем бурей, которую они не смогли бы ни увидеть, ни понять, которая укроет их хлопьями, как кружевом, и они будут закутаны в кружева, хоть и никогда не согреются, как

и на черной блестящей, будто новая туфелька, груди их бабушки, где она держит кружевной носовой платок, аккуратно свернутый, как уютное перышко; только холодное кружево; они будут спать по ночам в холодных кружевах. Утром они встанут и, взяв маленькие лопатки, соберут весь снег, лежащий вокруг, в волосах и в глазах, и будут биться, и кричать, и ничто их не спасет.

Южный ветер, дуй хоть век,
Пусть у нас повалит снег.

9

На следующий вечер, во время чая, Боб Уизерс попросил всех замолчать. Он хотел что-то сказать. А попросил он, стукнув кулаком по столу так, что чашки и блюдца подпрыгнули.

— Женщина с соседней улицы, миссис Мавинни, ищет помощницу по дому. Я сказал, что Фрэнси сдюжит. Думаю, будет получать около фунта в неделю. Или больше. Семья довольно обеспеченная, там только она и две девочки, которые ходят в школу.

— Но папа, а фабрика, а мой велосипед!

Фрэнси теперь хоть каждый день боролась бы с полчищами шерсти, чтобы ездить туда-сюда по северному и южному ветру, поэтому ночами они с Дафной лежали в постели, представляя, что будет дальше. Теперь они поняли, зачем фабричные девушки покупали билетики чудесной лотереи, стиральную машину, пылесос и фен; чтобы эти штуки хранились у них в головах, как заклинание, по волшебству прогоняющее нудную работу и слепоту, велосипед так же волшебно действует на Фрэнси. И еще знание о южном ветре. Дафна придумала молитву, которую надо читать, заходя

на фабрику; когда зазвучит фабричная сирена, нужно произнести особое заклинание из книги сказок, чтобы Фрэнси не оказалась в вечном плену и чтобы сберечь часть прежней Фрэнси; и чтобы ее руки не уставали и не болели в сражениях с шерстью, ведь пока она тонет в красном, золотом и синем, она будет как пловец, который борется с водорослями, далеко от флажков, в заливе Фрэндли-Бэй этого мира, пытаясь не уйти под воду.

Шерсть стала реальной, существом, которое прокладывало себе путь через их жизнь наяву и сновидения, и теперь пришел их отец, чтобы порезать чудовищный сон на куски и убить полюбившийся им и ставший желанным страх. И Фрэнси, Фрэнси никогда больше не будет в награду за борьбу с шерстью ездить туда-сюда на ветру; и они больше не попадут в сказку, где герой одолеет врага и завоюет золотые миры, прекрасную женщину, гору драгоценностей.

И, подумала Дафна, Фрэнси пойдет по северной дороге, а если наступит осень и повсюду будут стаи птиц, клюющих чертополох и мятлик или прыгающих со стебелька на стебелек, то все зяблики последуют за Фрэнси огромным облаком, чтобы ее защитить; а если наступит зима, то

серебряные белоглазки, охочие до меда, пошлют вслед за ней свое зелено-желтое облако. Дафна задумалась.

— Да, как же мой велосипед, папа?

— Можешь его оставить. Заплатишь самостоятельно. Это пойдет тебе на пользу. Теперь, когда ты закончила школу, нельзя слоняться по дому, как раньше, надо найти свое место в мире.

Пока мистер Уизерс говорил, в комнате все притихли. Чайник стучал и тяжело сопел, но миссис Уизерс не решалась встать, чтобы снять его с огня или подложить в огонь еще лопату блеклого угля. Дети, Фрэнси и Дафна, и еще младшая, Цыпка с черными волосами, и мальчик Тоби, со склоненной набок головой и затуманенными мечтательными глазами, сидели неподвижно, глядя на отца и его тень, которая, разделившись надвое, лежала на краю стола, а затем сидела на стене и на календаре, показывающем даты, когда нужно оплачивать арендную плату и свет; лежа на столе, его тень напоминала лист папоротника, как тот, что отец носил в пальто, потому что он вернулся с войны, где получил отравление газом, с Первой войны, а надо платить по счетам, пробиваться в жизни и цепляться, как фабричные девушки, за ложную магию и ложную сказку.

Слушая, как отец говорит о Фрэнси, дети испугались, что стены дома вдруг рухнут, крыша исчезнет и они останутся голыми, и ничего не отгородит их от мира, и мир шагнет прямо к ним, крепко сожмет их в своей руке из камней и лавы, как букашек, и вынудит бороться и брыкаться, чтобы сбежать и найти свое место. И каждый раз, когда они отыскивали свое место и мир давал им на время мирное убежище, потом он снова хватал их одной из миллионов пылающих рук, и борьба возобновлялась и длилась, и длилась, и не знала конца.

10

В следующий понедельник Фрэнси начала работать у Мавинни. Они жили близко, настолько близко, что она даже не могла ездить на велосипеде с зелеными и золотыми птичками в волосах. И даже велосипед, даже горы драгоценностей или волшебное кольцо ничем не помогли Фрэнси, как обычно и бывает. Она в одиночестве пошла в дом, полный комнат и ковров, которые впитывали шаги, как цветной мох; и вдова, миссис Мавинни, в черном платье, как у монашки; и две девочки, одна со сломанной ногой и деревянным костылем, почти мягким, как подушка, в том месте, где Руби опиралась рукой; а другая девочка, Дорис, удивляясь чему-то, сразу об этом сообщала, причем удивлялась она, видимо, постоянно: О, змеи. О, змеи.

Фрэнси накрасила губы помадой, найденной в траве у заповедника, и надела старое пальто, — прислала тетушка Нетти вместе с кучей других вещей, которые «может, девочкам пригодятся».

— До свидания, — пропела ей вслед Дафна.

— До свидания, — сказала Фрэнси. И добавила тоном, которым женщины в фильмах говорят

слова прощания своим возлюбленным: — До свидания, *школьница*.

После этого Дафна не узнавала Фрэнси. Фрэнси была загадочной. Она купила серые брюки, надела их и отправилась в город, в воскресенье, а Боб Уизерс, который не ходил в церковь, но знал, что подумают люди, пытался выпороть Фрэнси за то, что она носит брюки по воскресеньям и ведет себя развязно; однако он не смог. Она выросла.

— Сейчас все такие носят, — сказала Фрэнси.

И отец посмотрел на нее в недоумении и растерянности и сказал жене:

— Девочке нужна дисциплина.

И заявил, что сожжет брюки под медным котлом или отправит Фрэнси в интернат, и что Фрэнси становится похожей на ту их сумасбродную соседку, которая устраивает вечеринки каждый субботний вечер с игрой в бинго и выпивкой. Отец был напуган, и всякий раз, когда видел брюки, он сердился, но теперь не на Фрэнси, а только на ее мать. Казалось, с каждым днем он становился все злее и напуганнее, а счета приходили один за другим.

— На этой неделе чеков больше, чем положено, — говорил он.

А Эми Уизерс краснела и отвечала, что шо-

коладное печенье предназначено для тетушки Нетти, проезжавшей мимо на экспрессе, что она сладкоежка, а в буфете нельзя купить ничего, кроме булочки с грязной кремовой пеной или шоколадного печенья, или черствого бутерброда, или пирога, и у тетушки Нетти случался разлив желчи, а это портит путешествие.

И отец Фрэнси цеплялся к чему-то еще, будто дергая за каждую нитку и желая проделать наконец дыру, однако то, что их отец пытался порвать и распустить, он сам же всю жизнь и вязал, старательно выводя узор, хотя время постоянно вмешивалось и в лицевую, и в изнаночную стороны, поэтому узор не выходил таким аккуратным, как мечталось. А Фрэнси выглядела счастливой и однажды сфотографировалась в брюках. Она шла по улице, когда ее остановил мужчина и вручил ей талончик с номером, и выяснилось, что он сфотографировал ее в брюках. Получив фотографию, Фрэнси показала ее Дафне, которая заметила:

— Ты здесь будто заплаканная.

Возможно, так оно и было, и Фрэнси не так уж счастлива, как все думали.

Дафна и Фрэнси теперь спали порознь, хотя использовали одно зеркало, перед которым обе вертелись, корчили рожи и улыбались. Фрэнси

заняла гостиную. И относилась к своему велосипеду как к чему-то обыденному. Она мало чем делилась. Миссис Мавинни подарила ей вечернее платье с дырявым черным кружевом по подолу, и Фрэнси пошла на танцы — танцульки, как она выразилась — и почти ничего не рассказала Дафне, потому что, по ее словам:

— Ты не поймешь.

— Я пойму, пойму, Фрэнси, честное слово, пойму. Скажи мне.

Фрэнси посмотрела вдаль и произнесла:

— Ладно, Дафна, скажу тебе как женщина женщине. Тебя это не шокирует?

— Меня ничего не шокирует. Меня ведь не шокировала история о почтальоне и Мэй Уэст, правда?

Однако Фрэнси передумала и отказалась говорить. Заявила только, что прекрасно танцует польку милитари тустеп; хотя максина ей нравится больше. Она произносила названия танцев с гордостью, как называют имена друзей и родственников, которыми гордятся:

— Мой дядя управляющий банком.

— Мой двоюродный брат, живущий за границей.

— Но, — сказала Фрэнси, — мне больше всего

нравится вальс судьбы. Ну, знаешь, если у тебя правильный партнер. Кстати, ты что-нибудь знаешь о сердцебиении?

Дафна ответила отрицательно, понимая, что от нее этого ждут.

— Ну, если ты танцуешь с правильным партнером, твое сердце бьется в такт его. Ты чувствуешь его сердце, а он твое. Они стучат друг другу в унисон.

— Как будто два теннисных мяча стучат, наверное?

— Что-то вроде, только по-другому.

Тогда Фрэнси отвернулась, потому что свой профиль любила больше, чем анфас, и заломила руки, и с трагическим, но отстраненным и равнодушным видом, сказала:

— Впрочем, тебе не понять, пока не пройдешь через то же, что я. Я страдала. Мы все испытываем сердечную боль, а потом кто-то сравнивает сердце с теннисным мячом.

— Я имела в виду, что он тоже ударяется и подпрыгивает.

— Сердце, — сказала Фрэнси, — похоже на огненный шар.

Вот и все, что она поведала Дафне о танцах, и даже не ответила на вопросы о том, каково это, ко-

гда тебя подвозят домой и целуют на прощанье.

Хотя ночью, в часы откровений, когда даже розоволапый мышонок набирается храбрости, а ежик не сворачивается в клубок, а шныряет в траве за домом, а в доме тепло, и его стенам не грозят никакие ураганы мира, Дафна и Фрэнси порой сидели вместе на старом диване в комнате Фрэнси и пытались поговорить обо всем, и о мире, и о взрослении, и о муже, и о детях, и о доме с крылечком, которое нужно подметать, и с кружевными занавесками, которые нужно стирать; и о саде с уложенными зелеными рядами овощей и капустой, у которой штаны подвернуты выше колен, как у молодого петуха на птичьем дворе; и о морковке, которая может вырасти кружевной или сиамской; и о высокой изгороди на случай, если соседи вздумают подглядывать; и о рождении детей, и о том, как матери переговариваются через забор с соседями и сравнивают, сравнивают,

и прочем,

и прочем.

Однажды ночью, в последнюю ночь, когда Фрэнси много говорила о взрослении, она сказала Дафне:

— Знаешь, что?

— Что?

— Во время Пасхи продают шоколадные яйца в фольге и все такое, так? Ну, мы дети, мы сразу едим яйца, правильно? А вот взрослые их просто хранят. То же самое и с шоколадом, и со всем, что приятно.

— Как ты это поняла?

— По семье Мавинни. У них в гостиной куча пасхальных яиц, с которых миссис Мавинни даже не удосужилась снять фольгу.

— Почему?

— Понятия не имею. Когда становишься взрослым, боишься пробовать вкусные вещи, например, пасхальные яйца, вдруг у тебя их больше никогда не будет, или вроде того, и поэтому ты их копишь, пока не заполнишь всю комнату. Это как тратить деньги и бояться, что потратил; только тут дело не в деньгах, есть что-то внутри людей, чего они боятся тратить. У миссис Мавинни так и у многих других тоже. А потом ты умираешь, а твое тело и все твои сокровища остаются завернутыми, как пасхальное яйцо, в красивую волнистую бумагу, а внутри черный шоколад с узором. Думаю, что взрослые очень глупые.

Они согласились, что взрослые глупые.

— Но взрослеть придется. Сегодня, и завтра, и

послезавтра.

С Фрэнси так и случилось — сегодня, завтра и послезавтра. Она все чаще и чаще молчала о том, что действительно важно. Она свернулась внутри себя, как один из тех черных маленьких моллюсков на пляже, едва прикоснешься, они ныряют в свою раковину, только их и видели.

И каждый день, когда Фрэнси шла на работу в дом Мавинни, стоявший совсем недалеко, казалось, что она уходит за много-много миль. Дафна подумала однажды, глядя на шагающую Фрэнси из-за живой изгороди, если бы только у нее внутри было какое-нибудь сокровище, чтобы помочь Фрэнси; если бы только взрослые могли сказать, что такое сокровище, а что им не является,

если бы только

можно было бы, как велосипед, творить волшебство и золотые и зеленые облака птиц, которые помогли бы ей сражаться с полчищами спутанной шерсти, все вокруг такое запутанное, жизнь запутанная, и Фрэнси каждый день шагала в одиночестве, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу и сразиться.

Что, если она попадет в ловушку, задохнется и больше не придет домой?

11

Солнце. Зреющий плод неба кровоточит, перевязанный белоснежной кожей осеннего облака; полуденный свет падает с деревьев в золотых хлопьях, называемых листьями; четыре тополя на углу, высоко вверху, колышутся струйкой воздуха в воронке света от холма к долине, от холма к долине — капля воздуха острая, как погибший крокусовый лист, и сладкая на листе тополя, как проклятия от сумасбродной Минни Каттл.

И старая-старая уловка разложения.

По соседству с домом Уизерсов, за живой изгородью, газонокосилка выплевывает траву, и запах в воздухе, и зеленые пятна на сапогах старого Билла Флетта и на руках Филлис Флетт, которая играет с травой, набирает ее пригоршнями и нюхает, а швырнуть траву некому, у нее только старшие братья, и где они?

Футбол, американский футбол, забег по кварталу в шипованных кроссовках для Спортивного общества любителей, а потом посидеть в саду с девчонками или прогуляться по набережной, глядя на море, бросая в него камешки.

— Хочу что-нибудь бросить, хочу что-нибудь

ударить, хочу что-нибудь *сделать*.

— Что, Эдди Флетт?

— Не знаю. Что-нибудь большое. Поцелуй меня, Мардж.

— Не здесь, Эдди, все смотрят, и дети на карусели, и вон парочка на скамейке.

Зеленая скамейка, похожая на стиральную доску, которую море скребет розовыми ноготками.

— Иди сюда, Филлис, подальше от травы.

Хватит газонокосилки, уже, наверное, время послеобеденного чая.

Дети Уизерсов слонялись без дела до самого полудня; глазели через изгородь на Флеттов, которые были «католики хрюшки, вонючие лягушки, и мяса по пятницам вовсе не едя-а-а-ат».

Ну, айда на свалку, крикнул кто-то из детей.

С ними была Фрэнси, которая присмотрит за Тоби и, если у него случится припадок, вставит ему в рот палку, чтобы он не откусил себе язык, и уложит отдыхать, укрыв пальто. Фрэнси проследит, чтобы они время от времени останавливались и ждали, пока маленькая Цыпка их догонит. И Фрэнси будет командовать Дафной, чтобы та не начала командовать остальными, ведь двух командиров не бывает.

И они отправились на свалку искать сокро-

вища.

На Фрэнси брюки с молнией сбоку и карманом, и она держит руку в кармане, а еще там лежит шестипенсовик, чтобы в складчину купить лакричные леденцы, или кислые, или анисовые, какие попадутся. На Дафне клетчатый жакет из обычной ткани, не из тартана какого-нибудь, и темно-синяя юбка, отделанная репсовой лентой, которую она сама добавила на последнем уроке шитья. А на Цыпке короткое красное платье в горошек. Ну а на Тоби — темно-синие штаны, фланелевая рубашка и подтяжки.

Впрочем, не так важно, во что они одеты, поскольку дети шли не на свадьбу, и описаны они не для газетной заметки, а чтобы вы смогли их представить и отличить друг от друга: вот Фрэнси, Тоби, Дафна и Цыпка Уизерс хотят найти сокровище и уверены, что найдут; так же, как взрослые люди (по мнению детей) ходят в магазины, в конторы и на заводы, то есть на работу, чтобы найти свое взрослое сокровище.

Детям Уизерс далеко ходить не надо было. Сначала на холм, потом вниз и на Кросс-стрит. Они шли мимо людей, которые работали в своих садах, косили газоны, копали грядки; дамы, опустив колени на маленькие резиновые коврики,

склонялись над первоцветами и анютиными глазками. Шли мимо домов с кружевными занавесками и разными украшениями, а хрюшки и лягушки выглядывали из окон и наверняка удивлялись, завидев Фрэнси, Тоби, Дафну и Цыпку, идущих на свалку за сокровищами.

На пути им попался Тим Харлоу, который ездил кругами на своем велосипеде. Он остановился, чтобы поболтать с Фрэнси:

— Дарова, милашка.

Фрэнси, высоко подняв голову, прошла мимо, потом обернулась и послала ему улыбку. Он улыбнулся в ответ.

— Какая девчонка ему досталась, — гордо сказала Фрэнси.

— Ты с ним встречаешься? — спросила Дафна.

— Еще чего, — сказала Фрэнси. — Никогда не клади все яйца в одну корзину. К тому же он младше. О, смотрите, мертвый ежик.

Он лежал посреди дороги, раздавленный и бездыханный.

— А почему? — спросила Цыпка, подошедшая сзади.

Фрэнси объяснила.

— Ночью, — сказала она, — ежи думают, что в темноте можно спокойно гулять и ничего не

бояться, а где еще гулять, как не по дороге с белой полосой посередине?

Она шутила. Она знала, что Тим Харлоу маячит у нее за спиной, и она была самодовольна и отпускала шуточки. Очень похоже на Фрэнси — шутить, когда дело доходит до болезни или смерти, потому что она быстро росла и узнавала всякое, и бросила школу, чтобы зарабатывать себе на жизнь, да и в любом случае, подумаешь, ежик.

В общем, она сказала:

— Ничего страшного, оставь. Убери от него свой чистый носовой платок, Дафна. Когда выйду замуж и обзаведусь машиной, я, наверное, перееду сотни и сотни ежей, даже об этом не подозревая. Они просто пятно на дороге.

Дафна убрала платок. В конце концов, ежик умер, и это грустно, но такая расплющенная и грязная смерть вызывала желание отвернуться.

Они пришли на свалку, где вонь и грязь, и тои-тои [2], как бахрома на шали; и они полезли по траве, по мертвым бревнам и искореженным железякам, и вместе уселись на чистой прогалине, заросшей мятликом и без пепла, чтобы

---

[2] Примечания: 2

Высокая трава, характерная именно для Новой Зеландии, название взято из языка маори. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

отдохнуть и вынуть камешек из ботинка Цыпки. Опереться было не на что, поэтому сидели прямо, уперев локти в колени. Они стали сравнивать свои коленки.

— Твои узловатые, — сказали они Тоби.

Тоби говорил мало. Обычно он просто злился и швырял вещи или плакал. Он посмотрел на свои узловатые колени, а затем на Цыпку, потому что она была младше и не умела спорить.

— У тебя тоже узловатые.

— А у меня перепонки, — сказала Дафна, растопыривая пальцы. — Значит, я наполовину рыба.

— А у меня бородавка, надо приложить подорожник, — сказала Фрэнси. Потом вздохнула и пожала плечами. — Что вы за детишки, и как это я согласилась приглядывать за вами в субботу, когда *могла бы* найти себе занятие поинтереснее, встретиться с друзьями, например. И вообще, зачем мы сюда пришли? Я уж точно не намерена сидеть весь день на старой грязной свалке.

— Фрэнси, ты ведь раньше ходила с нами.

— Раньше?

— До того как бросила школу и все изменилось. Ты не хочешь вернуться в школу и снова стать Жанной д'Арк? Она была святой.

Фрэнси хихикнула.

— Святые не по моей части. Я предпочла бы стать взрослой. Давайте-ка лучше пойдем вон туда, где что-то жгут, и посмотрим на огонь. Только полчасика, а потом домой, и по дороге возьмем кислых леденцов, но уж точно *не* анисовых.

Цыпка заплакала. Ей и так не очень-то хотелось идти на свалку, потому что далеко и она все время отставала, но Фрэнси обещала анисовые леденцы, и всю дорогу Цыпка представляла себе леденец, сначала он во рту коричневый, потом белый с крошечным голубым ободком или отблеском, потом чисто белый, как теплая градина.

— Но ты обещала анисовые леденцы, Фрэнси.

— Я? Надо же. Ладно, тогда по три пенса за штуку, и довольно хныкать.

Подошли к огню. Он был больше, чем они думали, от него валил дым и пахло машинным маслом, керосином, резиной и тряпьем. Рядом стоял мужчина, который то сбивал огонь мешком, то ворошил палкой, чтобы разгорелся. Он повернулся к детям, стоявшим вверху на краю лощины.

— Вон отсюда, дети, а не то взорветесь или сгорите.

Фрэнси уставилась на него. Откуда здесь, подумала она, отец Тима Харлоу. Он говорил, что его

отец в свободное время работал хирургом, делал операции, носил резиновые перчатки и маски из марли, а медсестры, такие же хорошенькие, как я, вытирали пот у него со лба, и все ему подавали. Она хотела приблизиться, чтобы посмотреть.

А что произошло потом, никто не может точно описать. Произошло, так или иначе. Фрэнси споткнулась о ржавый обломок плуга и упала вниз головой, слетела по склону кувырком, прямо в пламя. И отец Тима Харлоу, член Совета, пытался подхватить ее и прыгнул высоко, как балерина, чтобы добраться до нее, и крикнул во время танца:

— Помогите, помогите, или зовите врача, или помогите!

Пламя окрасило багряной тенью его мешок, которым он размахивал в танце, как матадор.

И Дафна, и Тоби, и Цыпка побежали вперед, зовя:

— Фрэнси, Фрэнси, Фрэнси.

Как будто имя, произнесенное трижды, оживит ее, как по волшебству.

— О господи, — завопил мистер Харлоу.

Он схватил детей и оттащил их назад. И отовсюду появились люди, словно из засады, и там была женщина, рвущая простыню, и это была миссис

Питерсон из «Планкет» [3], плоская и темная, как школьная доска, с написанным мелом ужасом на лице. И Дафну, и Тоби, и Цыпку отвели в дом Харлоу, дали по глотку горячего молока и кусочку кекса и велели ждать машину, которая отвезет их домой. И они сели на диван, из середины которого, словно внутренности мертвого ежа, торчал пыльный кусок набивки.

Они сидели в ряд, свесив ноги со слишком высокого для них дивана, и крепко сжимали свои кусочки кекса, хотя и не думали его есть, и он разваливался от того, что его сжимали, и потому что был теплый, и крошки падали на ковер Харлоу; но никто не обращал внимания.

Миссис Харлоу, невзрачная женщина, изогнутая, как перышко, с желтыми, словно тои-тои, волосами, смотрела на них, стоя у двери. В руке у нее был кусок кекса, и она будто не знала, куда его положить. Она быстро оглядела комнату, словно ища, кому бы отдать кекс, а увидела только Дафну, Тоби и Цыпку; поэтому положила кекс на блюдо рядом с пакетом иголок и мотком шерстяных ниток, и кекс пророс в высокий золотой цветок, пробившись сквозь крышу и дотянув-

[3] Примечания: 3

Новозеландская благотворительная организация, которая помогает родителям детей в возрасте до пяти лет.

шись до неба, и Дафна его заметила и сорвала один лепесток, чтобы увезти в машине домой.

— Машина скоро приедет, мои дорогие, машина скоро приедет, — сказала миссис Харлоу. — Теперь пейте молоко и ешьте кекс, а младшенькая клюет носом и такая бледная, ах, бедняжка.

И они сидели на диване годы и годы, пока за окном не стемнело или, по крайней мере, так показалось, и, должно быть, с солнцем что-то случилось, ведь на самом деле еще не стемнело, потому что, когда Дафна искоса глянула на окно, она увидела свет, и солнце, и улицу, по которой, гудя, проезжали машины, и маленькие собачки прыгали, а люди куда-то шли. За окном опускался туман, в воздухе стояла сырость, заставляющая людей снимать постиранные вещи с бельевых веревок и застегивать верхние пуговички и воротнички.

А потом Дафна снова оглядела комнату, где они сидели в темноте. Там был высокий буфет с тарелкой фруктов на одном краю, яблоки, апельсин и слегка потемневший банан; а на другом краю шерсть для штопки и кекс-цветок. И золотая тарелка с нарисованным на ней оленем в лесу; а на стене картина с собаками, четырьмя, с поднятыми носами и поднятыми хвостами, и рядом с

ними человек на коне, картина со сценой охоты.

Так они и сидели неподвижно, и молчали, пока у Тоби не затряслась рука, не застучали зубы и не случился припадок, и Дафне пришлось делать то, что входило в обязанности Фрэнси, хотя ей от этого тошно: позаботиться о его языке и освободить место на диване, чтобы он лег. И никто не заходил в комнату много лет, и казалось, их там оставили, чтобы они сидели и росли, не видя больше людей и не уходя домой.

Домой?

Спустя годы приехал мужчина на машине и отвез их домой.

12

Миссис Уизерс скептически относилась к двум типам людей: страховых агентам и коммивояжерам. Ей о них рассказывали, и однажды, когда семья жила далеко на юге, где старая бабушка Уизерс негритянкой трудилась на хлопковых полях, страховой агент сунул ногу в их дверь, и миссис Уизерс быстро закрыла дверь, прищемив мужчине ногу, что весьма болезненно, как все мы знаем благодаря новым ботинкам и выражениям лиц тех девушек, которые пытались надеть туфельку Золушки.

— Я же сказала, сегодня ничего не нужно, спасибо, — повторила миссис Уизерс, еще сильнее толкая дверь на случай, если страховому агенту потребуются дополнительные доказательства.

Нет, она таких профессий не одобряла. Стервятники, гиены, называла она их. Пиявки. Хотя на самом деле они высасывали деньги, которые, впрочем, и являются формой крови, необходимой для жизни.

Итак, в тот день, когда дети отправились на свалку, какой-то мужчина, похожий на страхового агента, постучал в заднюю дверь, хотя была

суббота, и Эми Уизерс положила свой фартук из мешковины на скамейку в судомойне и приоткрыла дверь, совсем чуть-чуть, а затем быстро захлопнула, поняв, кто этот человек.

— Сегодня ничего не нужно, спасибо, — сказала она. — Я не могу себе позволить покупки.

Мужчина был упрям и сунул ногу в дверь.

— Я пришел, — сказал он.

Эми не дала ему договорить:

— Сегодня ничего не нужно, спасибо. Что бы вы ни продавали, я не куплю.

Мужчина грустно улыбнулся, затем резко толкнул дверь и вошел. Он сказал, что он врач и не собирается ничего продавать. Входя в унылую и неопрятную кухню, он подумал, что миром все-таки правит коммерция, даже смерть покупается и продается, и мир для смерти полный банкрот.

— Нет, — сказал он вслух, — я не собираюсь ничего продавать.

Хотя на самом деле он продавал смерть, самым ужасным образом, на вечную вечность, хотя Эми не хотела его впускать.

Он рассказал о Фрэнси и добавил:

— Соберитесь, миссис Уизерс. Насколько я понимаю, ваш муж придет с минуты на минуту. Он все знает, только без подробностей.

И когда Боб Уизерс пришел домой, с мешком угля в одной руке и грязным синим комбинезоном в другой, он с растерянным лицом встал в дверях и увидел Эми, сидящую в углу на ящике и обнимающую Цыпку, а другие дети стояли вокруг бледные, и огонь в кухне почти погас.

Он поцеловал жену и заплакал, а его комбинезон упал на пол и развернулся бессмысленным, усеянным пятнами узором другой, рабочей его личности, плоской и вороватой.

— Ох, Боб, — сказала Эми. — Ты рано пришел домой. Ты никогда не приходил так рано.

Дети еще не видели отца плачущим. Они думали, что отцы сердятся и кричат из-за счетов и брюк, хихикают над анекдотами с женщиной из книжного киоска, а иногда и с матерями; но никогда не плачут.

С опущенными уголками рта он был похож на птицу, на курицу, когда остальные куры ночью исчезли, и последняя, осознав неладное, в панике; ее клюв сникает; и именно таким выглядело лицо Боба Уизерса, когда он понял, что произошло с Фрэнси. Он узнал позже других. Его предупредили и загнали, как птиц ночью, в дом, но не для того, чтобы согреться. Загнанные внутрь, они не оказались в теплом гнезде, а упали в темноту, в

то же время обретя утешение, поскольку были вместе и были рядом; а Боб еще ждал, когда его загонят внутрь, чтобы разделить тьму их полного знания, и не хотел идти, и боялся, как последняя курица.

В ту ночь Фрэнси не пришла домой, чтобы спать на кровати в гостиной. Хотя Дафна знала, что она мертва, все равно ждала, когда Фрэнси придет и станет расчесываться перед зеркалом и туго натянет платье вокруг талии, чтобы оценить, достаточно ли она стройная; и будет высоко поднимать ноги, словно танцовщица; и будет репетировать свою великую оперу, хотя бесплатная книга была уловкой, и за обучение опере нужно платить двадцать гиней. А потом она выдавливала бы прыщи, те, что в складках между носом и щекой. И выщипывала бы брови. Дафна ждала, однако ничего не произошло. Вместо этого пинцет, который Фрэнси использовала для выщипывания, остался точно на том же месте на туалетном столике. Он лежал там часами, днями и неделями. Однажды Дафна передвинула его на несколько дюймов, чтобы посмотреть, как он тогда будет выглядеть. И она подошла к платяному шкафу и провела рукой по одежде вверх-вниз, станцевала вечерним платьем, хотя

внутри него никого не было, она танцевала вальс судьбы и максину, просто чтобы посмотреть. Вот бы ее увидеть! Еще раз, только один разок, и тогда Дафна смогла бы примириться.

И несмотря на это, Эми Уизерс сказала:

— Обратитесь к вере.

Несмотря на похороны, цветы и открытки, которые она сложила в корзину для покупок, похожую на детскую колыбельку, намереваясь потом их рассмотреть и выбрать самые красивые, те, что блестят белым глянцем и с надписью, мол, Фрэнси на самом деле не умерла, а только уснула. Несмотря на все это, Эми Уизерс сказала:

— Обратитесь к вере.

Веру глазами не увидишь, и все же она должна помочь, как ветерок, разглаживающий складки на школьной форме; и теперь, когда жизнь потеряла всякие признаки упорядоченности, Эми Уизерс нуждалась в вере.

Вера все сгладит.

А еще встреча с Фрэнси в день воскресения.

13

Длинный коридор сияет, как кожа нового ботинка, который идет, идет сам по себе призрачными шагами в собственном сиянии, пока не достигнет комнаты, где женщины в ночных рубашках ждут, когда в девять часов начнется кошмар под названием лечение электрошоком. Они носят халаты из красной фланели, как будто бог или дьявол купили материк из ткани и ходили с ножницами от берега к берегу, чтобы вырезать множество мертвых силуэтов сумасшедших мужчин и женщин, и тканевый флаг в форме солнца развевается в их единственном небе.

Тем не менее им говорят, что в девять часов все будет хорошо. Их ослепят, а потом тень сползет с их глаз, чтобы они могли видеть лишь свою тарелку, свой чай, свою сигарету; чтобы вросли в землю как дом и вечно смотрели на свой задний двор.

Заколки для волос сняты и разложены рядами вдоль каминной полки. Зубы лежат в чашках без ручек с чуть теплой водой, расставленных кругами, для компании, на столике с костлявыми ножками.

— Выньте зубы, — командовали женщины в розовом. — Выньте зубы.

И вскоре тот же самый бог или дьявол, что ходил по тканевому материку, повернет переключатель и скомандует:

— Узри. Забудь. Ослепни.

Бейся в конвульсиях, не зная причины.

Вынь зубы, чтобы не подавиться, глаза выколи, как у графа Глостера, чтобы не видеть утеса и великих богов, гремящих над твоею головой [4]. Твоя жизнь изъята в виде меры предосторожности против жизни.

И женщины, отдавая свои зубы, свои глаза, свою жизнь, улыбаются, смущенные или обезумевшие в мире красной фланели.

Медсестра розовая, как цветок из сада, только вот ветер, сгибающий ее тело, дует с того же континента болот и стоячей воды, откуда раздается голос бога или дьявола в ее ухе, словно тот самый тихий голос, который гнал лошадь, шепча «ну» и «пшла».

в самый солнечный день, окрашенный, как одинокая метелка тои-тои с подсолнухом в сердцевине из кекса, хотя семена тмина в ней обо-

---

[4] Примечания: 4

Аллюзия на трагедию Уильяма Шекспира «Король Лир».

жжены до черного пепла тем же ветром, который сгибает и сминает розовое тело цветка, который гнал и мчал через миллионы лет в мир слепоты

эта комната

на кушетке, покрытой черным покрывалом, похожим на жука с окантовкой и резинкой, лежат женщины, чьи виски начисто вымыты пурпурным вздохом жидкого *эфирного мыла*,

спрятанного в ватном шарике, и ждут крокодила. Бормочущие, тараторящие, тихие как лес женщины ждут щелчка выключателя, который лишит их возможности видеть

и страшиться

и пытаться уйти, ведь они обитают в комнате слепых, где двери без замков, и те, кто входит из коридора, способны рассечь стену своими телами, и та же самая стена смыкается за ними бархатной массой, как волна позади странствующего святого или корабля.

Но является бог или дьявол, идет по длинному коридору, сжимая разум и голос в капли размера молекул, сквозь неприступную, окружившую их стену. И приветствует женщин. И выжимает кровь из их фланелевых халатов, что капает на пол, сливается в ручей, стекающий к стене, и теперь эта волна давит на стену и не может

вырваться.

Женщины кричат. Они боятся утонуть. Или сгореть.

Медсестра срывает один из своих розовых лепестков, полощет его в волне, чтобы впитать малиновый цвет, высосать его одним вдохом. Затем поправляет свое тело, засовывая лепесток в щель между ртом и глазами, и улыбается богу или дьяволу, который готов подать ей сигнал, подняв руку или расширив глаза, сигнал столь же скрытный, как вопль

и голова корчащегося крокодила оторвана, ее волокут через дверь в конец комнаты,

и дверь распахивается, как две ладони, которые показывают,

Cela m'est égal, cela m'est égal [5].

Корчащуюся голову вносят внутрь, и ожидающие женщины слышат шарканье шагов, голос, два голоса, вопль души, застигнутой врасплох воронкой тьмы. Потом тишина. Пока дверь вновь безразлично не распахнется, обнажая свои деревянные руки и зерна сердца, жизни и судьбы.

Cela m'est égal, cela m'est égal, говорит она, словно о беззаботном вздохе или какой-то банальности,

---

[5] Примечания: 5
Мне все равно, мне все равно (*франц.*).

а на колесной кушетке лежит то, что осталось от головы крокодила, у которой морда синяя, как лицо у Тоби с черной дудочкой, похожей свисток, застрявший во рту.

И глаза открыты в торжестве внушенной слепоты.

Голова стонет и корчится, и ее поспешно, будто она уже умерла, заслоняют розами от тела корчащегося крокодила, и указательный палец розового цветка закрывает и приглаживает ее веки, нежно, как обращаются с умершими, которых нельзя обижать; и дудочку вынимают изо рта, словно, пролежи она там дольше, могла бы заманчиво сыграть мелодию слепоты.

И снова крокодил разрублен, то же шествие к двери, та же тишина,

Cela m'est égal.

И вот Дафна проходит мимо рядов женщин, лежащих мертвыми, каждая с дудочкой или свистком во рту, или быстро вынутыми на случай, если музыка заставит застыть, как в сказке.

Двери. То же равнодушие.

И бог или дьявол слева, в изголовье кушетки, которая парит, изменчивая, будто тень, отброшенная из другой реальности невидимым шаром света. Доктор двигается осторожно, на цыпоч-

ках, словно лавирует между шпагами. Он что-то бережет. Сперва кажется, что свою жизнь. А на самом деле — машину, кремовую, с изогнутым телом и светящимися глазами, один красный и зловещий, другой черный, способный погасить импульс. Доктор стоит и легонько, едва касается рукой своего сокровища; тогда Дафна понимает, что он не смеет оторвать руки от чувственного тела красноглазой машины, которую держат на привязи на случай побега, подобно тому как влюбленный связывает предмет своей любви узами привычки, обстоятельств, комфорта, времени, черными электрическими шнурами, целой сетью проводов, сливающихся в одно целое, которое управляется переключателем и движением руки врача.

— Включи, любовь моя, — скажет он, — потянись к выключателю и нежной рукой погладь красный светящийся глаз.

Он смотрит на Дафну, как будто она помешала его удовольствию, или как будто он хочет с ней поговорить, а затем стереть из ее сознания восторг, который он испытывает благодаря своей прекрасной машине.

— Забирайся на кушетку, Дафна.

Она взбирается на подвешенную тень горы и

видит на ее вершине золотую впадину, точно подходящую Дафне по размеру. Как мастерски сделана впадина, высеченная каждым годом ее жизни, превращенным в дождь и северный ветер, или южный, приносящий снег.

— Ложись, Дафна.

Дафна ложится. Внезапно над вершиной горы, на уровне самого нижнего облака, появляются лица, застывшие в форме облака, пяти женщин, одетых в белое, завидующих золотой впадине. Они смотрят вниз и улыбаются, чтобы завоевать расположения Дафны. У них чешутся руки выкопать золото, сложить его в большие полотняные карманы и выползти из комнаты; ведь они *должны* ползать, это белые насекомые с подвижными усиками на головах, каждый усик оканчивается белым бубенчиком, словно отделившимся от стебля подснежником. Их усики колышутся.

— Ложись, Дафна.

— Ложись, Дафна.

Доктор подходит так близко, как только может, не отрывая руки от выключателя своей возлюбленной.

— Привет.

Он улыбается обманчивой, лукавой улыбкой. Так улыбается мир, поутру узнавший правду о зо-

лотой горе, о каждой золотой горе: что все гнезда из глины, а солнце — бесформенная скала, чью переменчивую способность давать свет время отколет киркой, замкнувшись в тишине своей тени и забвения.

— Привет, Дафна.

Женщины машут усиками. Они внезапно напрягаются, их колени застывают как бетон, а груди становятся каменными; и к ушам Дафны прижаты сосульки, а ее тело внизу, внизу лежит во впадине; и одна из женщин говорит ласково:

— Держи это во рту.

Это не анисовый леденец, и не кислый, и не лакричный, это маленькая черная дудочка или свисток.

— Стисни зубами.

На ней нельзя сыграть мелодию? Бросай свою дудочку, счастливую дудочку. Доктор ликует, нажимая на выключатель.

И пустота.

14

О, ветер навеки поселился в телеграфном проводе, чтобы рыдать там в серый день, на самой одинокой из дорог, покрытой гравием и пылью, и мятликовый лес на обочине, и живая изгородь из дрока или ракитника с мертвыми листьями, не желающими опадать, и распятие из покосившихся столбов, связанных с плачущим ветром, навеки поселившемся в телеграфном проводе, чтобы там рыдать.

Граммофонная труба тошнотворно пахнет зеленым сукном и маслом, запах, проглоченный и извергнутый памятью на свернутый лист лета, сожженный и сваренный в пемзовом котле с шишкой амбрового дерева и старым яблоневым цветом.

Фрэнси, озорная птичка,
Дождь идет, спускайся к нам,
Что на это скажет мама,
Если ты погибнешь там?
Непослушная ты птичка,
Ну, спустись ко мне скорей,

До тебя мне дела нету,
Отвечает воробей.

Фрэнси, лети сюда, озорная птичка, дождь льет, огонь льет. Теперь будьте осторожны, детишки, ибо где бы вы ни оказались, можете встретить ангела; ангелы ходят по земле среди людей, и когда придет день, Христос тоже будет ходить по земле неузнанным. И блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие.

Не собирайте себе сокровищ на земле.

Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь, блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога.

А детство — ерунда, всего лишь ветер, что рыдает в телеграфном проводе, зубная боль в полости ночи, слишком большое тело, свернувшееся калачиком в слишком маленькой кроватке, бабушка, которая гнет спину под жарким солнцем Вирджинни, бабушка, какие у тебя большие глаза; и мальчик в лисьем животе, распоротом, распоротом, мальчик, девочка или день, запертый в душном чреве памяти.

Теперь, когда Фрэнси мертва, я, Дафна, старшая сестра, самая старшая в семье, не считая Тоби, который из-за припадков иногда лежит в больнице со слипшимися резиновыми губами, покрыты-

ми слюной, с перекошенным лицом и глазами навыкате. Он не узнает нас, когда мы заходим в приемное время, и медсестра ведет нас по коридору в комнату, похожую на клетку, с решетками, где Тоби лежит на высокой кровати, белой и чистой, как фарфоровая тарелка; высокой, словно кровать, где на двадцати тюфяках лежала принцесса; *настоящая* принцесса. Тоби, когда ты поправишься, мы пойдем на свалку искать вещи. Алмаз. Кусочек золота. Кость птицы моа. Тоби, мы *должны* найти вещи, которые другие люди выбросили за ненадобностью, целые дни и ночи они стоят на краю и выбрасывают; выбрасывают ночью, или во сне, или видя сны; пока они не проснутся слишком старыми, слишком поздно.

Тоби, когда ты возвращаешься из больницы и все счета оплачены… Они не оплачены. Письмо придет от больничного совета, и наша мать положит его в часы или приколет к календарю, а наш отец потянется к нему, когда вернется домой ночью, поднесет поближе к свету, чтобы прочитать и подготовиться, потом вскроет его и всплеснет руками, или заплачет от ярости, как Румпельштильцхен, хоть и не проваливаясь сквозь пол, и закричит:

— Деньги! Деньги!

И мышка вылезет из дырки в углу ящика и прошепчет голосом, похожим на сотни и тысячи: Деньги? В ящике мы храним старые туфли, книги и куски кожи, с помощью которых наш отец чинит обувь. Где колодка, кричит он. Кто видел колодку, и молоток, и коробку с гвоздями? А мужчины в синих фуражках приходят по ночам, чтобы помочь ему чинить нашу обувь.

Ох. Тоби. Наш отец чинит обувь, не надевая очки. Он может видеть проворно, как свет в темных углах, или проворно, как форель, которая прячется под берегом реки, прижав брюхо к каменистому дну. Возможно, наш отец не слепнет. Помнишь, дедушка носил очки и надевал их на лоб, как будто там, на этом блестящем пятне, где нет волос, на блестящем пятачке, который у стариков и младенцев покрывается чешуей, опять же, как у рыб, находилась тайная пара глаз, которые плохо видят. Футляр, в котором он держал очки, был потертый и тоже блестящий, с оранжевыми точками. В горошек? Что такое горошек, Тоби? Я слышала, как кто-то назвал это горошком, думаю, тетушка Нетти, ты помнишь, мы наблюдали за ней однажды через дверную щелку. На туалетном столике перед ней лежал футляр из ракушек пауа, в руке она держала пу-

ховку и делала макияж, и улыбалась самой себе в зеркале. Улыбка удовольствия, устроенности и того, что называется мудростью. А потом она повернулась, увидела нас и покраснела.

— Как вы посмели подглядывать за мной, пока я крашусь.

Оказалось, это грех. Смотреть, как тетя Нетти красится. И, полагаю, еще хуже ей было оттого, что теперь мы знали ее другое лицо и другую улыбку. Мы поймали ее, как воровку.

— Невоспитанные дети.

Как будто мы подсматривали за ней в туалете, или ковыряли в носу, или делали то, что делают наедине с собой.

Но, Тоби, ты не поправляешься. Ты нас не узнаешь и не разговариваешь с нами, а мы с Цыпкой играем вместе и ждем, когда ты вернешься домой, а дети в школе говорят:

— Твой брат слетел с катушек, ха-ха.

А потом, когда ты выходишь из больницы и идешь к морю, и у тебя случается очередной припадок, все говорят нашей матери:

— Миссис Уизерс, вашего мальчика надо отослать.

Теперь, Тоби, я знаю, что людей отсылают, и мне интересно, куда. Возможно, в Рио-де-Жанейро, где

можно петь песенку рыб в море. Отсылают далеко в Рио. Помнишь, пришлось отослать женщину, которая жила по соседству; пришлось отослать, потому что она расхаживала по улице голой, как король в сказке, только у нас люди мудрые, как тот ребенок, они заметили и сказали:

— Эй, так дело не пойдет.

Так что ее отослали, как и другую женщину, Минни Каттл, которая стояла на вершине холма и как градом осыпала всех ругательствами, включая нашу мать, которая давала бы ей еду и одежду даже не потому что та в них нуждалась, а просто так наша мать проявляла любовь, по той же причине она давала нам молоко и держала джерсейскую корову, что дышала нам в лицо травой и молочной пещерой, как любовью; Цыпка поначалу была слишком мала для экстра-мамы, да и целовали ее чаще, а вот наш отец всегда говорил:

— Отстань от меня. — Если наша мать обнимала его или касалась плеча.

Отец грустил, хотя у него был новый велосипед, оставшийся после Фрэнси, и он, наконец, сжег брюки Фрэнси под котлом, тайно предав их огню, и теперь он чувствовал себя виноватым и не любил, когда его целуют.

— Отстань от меня.

И наша мама ставила чайник на огонь, и когда чайник начинал петь, а заварочный чайник стоял, нагревшись, сбоку от плиты, в нем две чайные ложки чая, нет, три, по одной на человека и одна для чайника, как было написано на этикетке, наша мать говорила с тем же взглядом, каким она смотрела на нашего отца, когда хотела его поцеловать:

— Выпей чаю, Боб.

И отец, сбитый с толку, улыбался.

— Как раз то, что мне нужно. Как я раньше не додумался?

Наша мать дала бы Минни Каттл с холма центнер чая в обмен на центнер ругательств; но женщину, обсыпавшую градом долину, отослали; а тебя, Тоби, не отослали, потому что наша мать всегда говорила:

— Никто из моих детей, никто из моих детей.

И так далее и тому подобное. И мы идем, как Тесей или мусорщик в лабиринте, с нашими воспоминаниями, размотанными на нити из шелка или огня; и неизвестно какой силой убивая минотавров нашего вчерашнего дня, мы снова и снова возвращаемся к рождению нити, в наше Где. И что, Тесей или мусорщик будут носить в волосах

алый мак из бумаги, или подвязывать штаны, как сверток, бечевкой, скрепляя штанины золотой нитью, как две рождественские хлопушки?

Небо теперь — голубая маска, скрывающая память, бухгалтерские книги и сокровища под стеклянным колпаком,

Рапунцель, Рапунцель, распусти волосы.

Бросай дудочку, свою счастливую дудочку.

Часть вторая
Двадцать лет спустя

15
Тоби

– Поет Дафна из мертвой комнаты.

Я говорю о мокрице и ее тропках на стене, о том, как она по-черепашьи поворачивается, и ее лапках, пишущих в воздухе телеграмму жалости,

— Приходи скорей. Я зарываюсь в закрытые веки стены, и стена с сочащимся привкусом света.

поет Дафна из мертвой комнаты.

Я хранила сон о двух разбойниках под подушкой, и мои разбойники ушли, насытившись моей последней сонной трапезой

на пляж, благословленный ракушкой
где зима льет бархатный солнечный свет
где маленькие пуговицы, как жемчуг
зеленые, как листва караки,
пришиты ко сну исповедью прилива
на морском дне печали моего брата.
В замочной скважине лета
я слышу грохот снегов.
На случай если солнечный свет убивает
я сделаю тебе, Тоби, соляную рубашку

с маленькими, как жемчужины, пуговицами
белыми, как бутон мануки,
вошью в рукава эту дугу моря
всю зиму с кровью твоей жизни.
Глядя на зеленую волну сквозь стекло огня,
я вижу багряную тень.
Тоби, я дам тебе булку голубого воздуха из пшеницы, которая растет в небесах, и опустошу моря ради райской отмели любви, и когда ты умрешь,
поет Дафна из мертвой комнаты.
я скажу, что ты жил в полумире, в микроскопическом местечке с надкусанными апельсинами, похожими на отравленный закат, где ни ветер, дующий только вперед, ни путь обратно, направляемый спелым плодом ночи, не в силах накормить или исцелить тебя.
— Тряпки, кости, бутылки, железный лом, железяки, жизнь на продажу,
поет Дафна из мертвой комнаты.
Теперь, Тоби, кем ты будешь, кем ты будешь,
на мясоперерабатывающем заводе, или в шахте, или в литейном цехе?
Теперь, Тоби, где ты будешь жить, где ты будешь жить
— в лачуге или бунгало, господь простит.
Теперь, Тоби, как ты умрешь, как ты умрешь

— выброшенным в яму из почему.

16

Наличные.

Тоби Уизерс развернул пачку банкнот по десять шиллингов и выложил их слоистой мятой лепешкой из мягкой ржавчины на маленький столик, по форме напоминающий ячейку сот с черным медом.

Один мир назад ульи в своих шляпах стояли в углу двора, и рой пчел в зарослях дрока, и яблоневый цвет, и яблоки размером с мир, до которых ребенок не дотягивается, а иначе для чего нужен рай, «гренни смит», «кентиш филлбаскет», «ром бьюти», «делишес», «джонатан», «айриш пич», и полосатые на вкус как зеленое мороженое, а иначе для чего нужен рай?

Наличные.

Десять шиллингов принес мясоперерабатывающий завод, где Тоби работал в сезон с хорошей платой, сверхурочными, премией, казенными сапогами, весь день вычищай кишки да принеси домой почку в кармане, запасную для твоего старика, ему шестьдесят, на пенсии, сидит в углу у печки, тряся коленкой или постукивая по краю стола тремя пальцами, вспоминая войну,

которую войну,

Поражение в А

Поражение в В

Поражение во всей кампании.

Старик…

— Тоби, *никогда* не называй отца стариком.

Отец Тоби принимает пилюли из узкой бутылочки с красной этикеткой, испещренной буковками-букашками, с инструкциями и предостережениями.

Тоби тоже принимает таблетки от припадков, которые теперь случаются лишь изредка, и тогда о нем заботится мать, поблекшая, сморщенная, медлительная, расплывшаяся, с затвердевшими артериями и распухшим соляным животом. Тоби мужчина тридцати двух лет, недавно прошедший через горнило отрочества и юности, золотая монета, серебряная монета, медная монета, ржавая банкнота в десять шиллингов, лежащая на ячейке сот с черным медом.

17

Часы показывали половину одиннадцатого, все трое часов, поскольку там, где в кухне Уизерс стояли на каминной полке одни часы, год за годом питаясь счетами, квитанциями и лотерейными билетами, появились еще двое для компании, злорадствующая и кудахтающая коллекция времени, трое обманщиков — старые напольные часы и два будильника с лунообразными лицами и сгорбленными плечами. Все показывали половину одиннадцатого, и им верили.

Однако радио-то *знало* правду, и его человеческий голос утешал Боба, Эми и Тоби Уизерсов, сидевших на кухне под чарами тридцати шести нечеловеческих глаз.

— Четверть одиннадцатого, — сказал человек по радио.

— Часы врут, — сказал Боб Уизерс, торжествующе глядя на каминную полку; но, даже говоря, что часы врут, он знал, что они точны, и они смотрели на него сверху вниз, по-дурацки сияя, и уверяли, что они точны, и он сказал: — А зачем нам трое часов?

— А теперь, — сказал человек по радио, — вы-

ступление музыкантов под управлением Уолтера. Доброе утро, Уолтер.

— Выключи, — сказал Тоби. — Не могу считать деньги, когда радио включено.

Он зачерпнул из консервной банки, стоявшей на каминной полке, пригоршню монет, высыпал их на стол и принялся раскладывать столбиками высотой с Эйфелеву башню.

— Выключи.

На самом деле он ни к кому не обращался, но мать появилась из судомойни, как она всегда являлась на его зов; привязана, как нежное эхо, к его голосу. Она держала тряпку, и ее лицо раскраснелось оттого, что она склонялась над плитой, стоявшей прямо за дверью, в углу.

— Ох, Тоби. Твой дедушка играл в первом духовом оркестре района. Он был капельмейстером. Раньше по воскресеньям устраивали парады. Послушай. Но я выключу, если хочешь.

— Не могу считать деньги, когда в ухе что-то шумит.

Мать послушно выключила радио. Отец оторвал взгляд от угольной плиты, у которой сидел, пригревшись, как сверчок, и принялся за утреннюю газету. Он прочитал страницу новостей и местные заметки, бегло просмотрел статьи

о Китае и Дальнем Востоке и о дорожной аварии, из-за которой юный Фред Мейнс получил травму и был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Затем перешел к комиксу в конце, который обычно читал в первую очередь; иногда он искушал себя, приберегая лучшее напоследок.

— Делай, как мать говорит. Оставь радио включенным. Мог пересчитать свои деньги ночью. Ты их в любом случае так часто считаешь, что уже давно должен знать, сколько у тебя есть. Кстати, ни *я*, ни твоя мать не получили ни гроша за то, что ты живешь в этом доме.

— Но, папа…

— Ты не обязан тут жить, если не хочешь и если думаешь, что мать с отцом слишком старые и немощные.

— О, Боб, Тоби ничего такого про нас не думает. Правда, Тоби?

— Конечно, не думаю, мам. Просто папа…

— Почему ты не женат? Что с той девчонкой, Чоклин?

Миссис Уизерс выглядела встревоженной:

— О, Боб, ты ведь знаешь, они просто дружат. Тоби не намерен пока жениться. Верно, Тоби?

— Верно, мам. Я не против дать тебе денег, папа, но мне пора жить самостоятельно, а держаться

на плаву можно только с деньгами. И когда же *я* получу свой старт в жизни? У меня есть обязательства.

Он повторил последнее слово. Обязательства. Для него это слово было длинным, ведь он рано бросил школу из-за припадков, и правописание у него всегда хромало, но, боже, сколько он выучил за это время. Он иногда запинался и говорил медленно, с вывалившимся из уголка рта языком, и все же чувствовал, что начинает узнавать о самых важных в жизни вещах, о деньгах и прочем.

— Да, у меня есть обязательства.

— Не забывай, что у меня тоже есть обязательства, мой мальчик. Счета и плата за свет.

— На прошлой неделе я купил тебе два мешка пшеницы для кур и брезент, чтобы сделать навес для машины. Почему бы тебе не сделать навес для машины?

Мистер Уизерс выглядел усталым. Он потрогал последнюю страницу газеты и посмотрел на комикс: Чоко работал в своем саду и сажал капусту вверх ногами, потому что хотел ее отправить, сэкономив на авиапочте, своему родственнику, старому дядюшке на противоположный конец света. Боб подумал, что в этот раз не так смешно, как на прошлой неделе, когда Чоко произносил

предвыборную речь.

— Да, что с навесом? — настаивал Тоби.

— Я не тороплюсь. И ты меня не торопи. Я не так молод, как раньше, не забывай. И твоя мать тоже.

— Да.

Тоби посмотрел на мать. Она держала кусок пергаментной бумаги и выкладывала на чугунную сковородку оладьи, чтобы испечь их на угольной плите, тесто падало на сковороду и поднималось, пузырилось, подрумянивалось, а потом быстро накрывалось сложенной скатертью. Эми Уизерс всегда делала оладьи ради мира в семье. Она намазывала их для Боба и Тоби маслом, словно для детей, и подавала на тарелке, намазывала и подавала, намазывала и подавала, пока оладьи не заканчивались или почти заканчивались.

— Вот это брюхо я отъел, — говорил Боб Уизерс, похлопывая себя по животу, двумя холмами выпирающему из-под жилета. Он действительно был похож на круглый мяч, годы облепили его не одним слоем плоти; но одно он сохранил — свои волосы; они были пепельно-серыми, и блестящими, и его гордостью.

И Эми с оладьями в руке:

— Никакая жена не испечет тебе таких оладий,

Тоби. Помню, когда ты был маленьким…

И она обычно заводила разговор о потопе; не о том, с ковчегом и каждой твари по паре, и вот, мол, Я наведу потоп водный на землю и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли; а про то, что река вышла из берегов, Клута разлилась из-за снега, и по ней несутся стога, а сверху восседают кролики.

— …когда ты был маленьким, Тоби, а Цыпка еще не родилась, и вы с Фрэнси гостили у бабушки, помнишь?

Насытившись щедро сдобренной маслом оливковой ветвью от Эми Уизерс, семья Уизерсов, Тоби и его мать и отец, примирятся и будут благословенны.

Так вышло и в эту субботу. Тоби собрал деньги, сложил их в серебристую жестяную банку из-под какао, которую держал на каминной полке, и взглянул с вызовом на отца, взявшего с другого конца каминной полки свою серебристую жестянку из-под трубочного табака, где хранил сэкономленные трехпенсовики.

Тоби зевнул.

— Тут жарковато.

— Из-за плиты, Тоби. Подожди, я открою окно.

— Ладно. Мам, я, пожалуй, побреюсь.

Он пошел в спальню и включил электробритву. Этот звук, зудящее вжж-вжж, донесся до кухни, где сидел Боб Уизерс, стеная над пригоршней трехпенсовиков, и желая, и желая

Художественный союз? Ходили слухи, что, если купить билет на север, где больше всего населения, обязательно выиграешь приз. В лотерею? От «Таттс»? Он слушал электробритву, новый способ бритья, по голой коже, преступный и властный, без мыла для бритья, без горячей воды, закрытой двери в ванную и пара, который нужно стирать с зеркала.

Он подумал: Это от меня далеко, не угнаться.

18

Первое мая, открытие охотничьего сезона, и вечерние газеты пестрели фотографиями людей в резиновых сапогах и непромокаемых куртках, опирающихся на ружья и высоко держащих за изогнутую шею мокрого лебедя, или гуся, или дикую пеганку, которая переливается синим и зеленым, как расколотая радуга. И казалось, что накануне всю ночь и утро утки летели низко в тумане, под облаками, чтобы найти убежище в городских садах, где они смешались со своими ручными и пухлыми сородичами, и в специальном утином пруду дети гонялись за ними, забрасывали камнями и душили миллионами крошек белого хлеба из щедрости душевной; или у дома Уизерсов, где протекал ручей, и султанки большими шагами мерили болото, дергая белыми хвостиками. Там, на берегу ручья, птицы-беженцы могли свободно ходить вразвалку и прихорашиваться, и, застигая воду врасплох, так что она едва успевала разделить свою волну под садящейся птицей, тихонько проскальзывали на поверхность, шлепая ситцевыми лапками, бесшумно плывя под прикрытием ивы, в укром-

ной тени. Там, рядом с домом Уизерсов, они вили гнезда, высиживали яйца, шагали взад и вперед стройными рядами, как на флоте, за исключением самого маленького, растерянного и встревоженного селезня, который утенком проводил дни в изнурительном труде, пытаясь наверстать упущенное.

— Берегись угрей, — говорила мать. — Берегись угрей, они тебя проглотят и не подавятся. Иди же, непослушная ты птица.

День обещал быть ясным, практически ясным над побережьем в Отаго, писала газета, потому что газета каждый день публиковала карту погоды. Утверждалось, что на севере жил человек, который сидел в башне и проводил свои дни, не работая, как другие люди, а отслеживая воздушные потоки и их связь друг с другом, чтобы составить карту завитушек и волн. И Боб Уизерс говорил, вспоминая о человеке в башне:

– *Некоторым* дано жить в покое.

Для него работа, пока он не вышел на пенсию, получив в подарок дорожные часы, будто он хоть куда-то вообще поедет, и он спрятал эти часы, ни разу на них не взглянув, — значило двигаться, потеть, носить и таскать; но уж точно не сидеть в башне, высокой и тихой, как церковная коло-

кольня в будний день.

Итак, день обещал быть погожим, и море лежало стеганым одеялом, подоткнув волны, и деревья дрожали, как безлистная вода, вырезанная из прозрачной глыбы голубого воздуха и мороза.

— Какой денек, — сказал Тоби, закончив бриться и намазав лицо кремом. Точно рак, подумал он. Мой отец боится идти в ногу со временем. Вот почему он никогда не станет пользоваться электробритвой. Мыльный раствор по старинке, ремень и бритва — вот что он признает. Тоби сунул бритву обратно в кожаную куртку и застегнул молнию. — Какой отличный день!

Отличный день для чего, Тоби?

О, я спущусь в долину и соберу железный лом для литейного цеха, заберу, наверное, тряпье у Джозефа, сбегаю к Чоклинам, отнесу книги для Джима. Есть чем заняться. Он раздвинул шторы и посмотрел вниз, на долину возле ручья, где по берегу вперевалку ходили утки. Скворец на грушевом дереве или одном из дубов издавал шелестящий звук, словно рвался шелк, какой-то черный блестящий шелк или, возможно, тафта, которая позеленела от времени и долгого употребления.

— Сезон охоты на уток, — сказал Тоби. — Мо-

жет, и мне взять лицензию на отстрел?

Отличный день, Тоби.

— Да, отличный день, есть чем заняться. Вечером в кино.

Тоби, давным-давно субботнее утро, в двадцать пять лет, а ты ничем не занят, проводишь все утро с ивовой палкой, освобождаешь ее от мелких веток, строгаешь, тыкаешь в воду, бьешь ею траву, и о чем ты мечтаешь, Тоби?

— Мечтаю, как приду домой и увижу, что все исчезло, вычищено метлой, и я стану жить у ручья с Цыпкой, Фрэнси и Дафной, буду есть леденцы, и у меня больше нет припадков, и нам светит солнце, и у меня есть палка, которой я отобьюсь от темноты, когда она нагрянет.

— Да, пожалуй, я куплю ружье, чтобы пострелять. Только потом. Но почему? Или завтра. Не знаю, мне пора к Чоклинам.

Он осторожно вел свой грузовичок по главной улице вдоль вязовой аллеи, чувствуя себя за рулем счастливым, стрелка на отметке тридцать и нога — как бы выразиться? — тревожно-радостная на педали тормоза. Он проехал мимо полицейского участка на тридцати. Если сержант там, он выглянет из окна, увидит меня за рулем и подумает: Тоби Уизерс достоин водить машину,

он осторожнее даже тех, у кого не бывает припадков, этот недостаток преподает урок, а в нем все равно видят лишь недостаток. И все же, несмотря на сплетни, он перерастает свои припадки, так говорят, так говорят.

Тоби проехал мимо неопрятных, застигнутых врасплох субботних магазинов с переполненными мусорными баками, еще у дверей подающими печальные сигналы; и наглый гастроном нового типа, где гастро-ковбой пижоном околачивается у дверей и кладет монету за монетой в музыкальный автомат, чтобы звучало:

О, мой папа для меня был замечательным,
О, мой папа со мной был таким добрым [6].

Ведя машину, Тоби напевал продолжение песни себе под нос. О, мой папа на пенсии, отрезан от всего, что имело для него значение, от железной дороги, от суеты на весь день, о, мой папа околачивается в сарае по старой памяти, выслушивает сплетни от девушки в книжном киоске и ждет бесплатной чашки чая от официантки в буфете, просто чтобы доказать себе, мол, все как раньше; встречается с приятелями, и они болтают на своем тайном языке работяг:

---

[6] Примечания: 6

Имеется в виду песня «О, мой папа» (*Oh! My pa-pa*) в исполнении Эдди Фишера.

К ней-то и не подберешься
Оамару Тимару Вайанакаруа,
Хей-хо, привет, муха.

А потом они видят уборщиков, пожарных и водителей, которые им в сыновья годятся, но пытаются сделать что-то полезное и получают за это хорошие деньги.

— Не то, что в мое время, вот когда я начинал, мы радовались просто возможности заработать…

Деньги-деньги, все та же старая история, *о, мой папа*.

Тоби свернул за угол к дому Чоклинов. Жениться на Фэй Чоклин? Жениться на ней и стать мужем, как остальные парни около тридцати, обзавестись домом, построенным в правильном стиле, и с правильными вещами внутри, какие нравятся девушке, с новой мебелью, на которой нельзя сидеть, со стульями, у которых ножки, как у операционного стола, и с узкой полкой над камином. Жениться на Фэй Чоклин и снова общаться с людьми, хотя бы попробовать, а не ходить одному на кинопоказы субботними вечерами, сидеть в середине на заднем ряду и читать вечернюю спортивную газету в перерыве, пытаясь найти для себя хоть какое-то место, пусть

даже бумажную битву или печатный борцовский поединок; или выйти покурить в одиночестве, стоять на углу у оборванных рекламных щитов с выцветшими и заляпанными афишами спектакля или цирка, который приехал на две ночи, а потом отбыл на край света, а с ним и толстая дама, и крошечный мужчина ростом два фута, и королевский лев, вопрошающий из грязи и соломы: Сколько земель необходимо королю?

Жениться на Фэй Чоклин и поселиться на участке в четверть акра, может быть, в государственном доме, который появился на свет как внебрачный ребенок какого-нибудь государственного архитектора. И бесплатный детский сад. С людьми, с людьми, не в одиночестве, ведь как читала моя мать двадцать пять лет назад в Библии, *горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле.*

Тоби закрыл глаза и снова открыл, быстро, а вдруг мир изменился и найдется уголок, где можно спрятаться, обрести пристанище. Ох, жениться на Фэй Чоклин и никогда не выйти за пределы круга, который вращается все быстрее любого света, и ни одна деталь никогда не ломается,

чтобы одинокий человек мог втиснуться в круг и согреться, боже мой, к тому же эпилептик.

Тоби Уизерс, припадочный, с грязными ногтями, сальными каштановыми волосами, покатыми плечами, головой набок и толстой шеей со складками. Владеет одной комнатой, за кухней, в родительском доме. Серые одеяла, односпальная кровать, скомканные вонючие носки под постельным бельем, посреди комнаты горшок, полный окурков, похожих на мертвые белые торпеды, потерпевшие крушение в янтарных морях ночи. И таблетки, таблетки в узкой высокой коробочке, по одной утром и вечером, Т. Уизерс. От припадков.

Припадки. Припадки. Припадки. Можно упасть где угодно. Сказали, что он может предчувствовать очередной припадок, и чудо, что ему дали водительские права, он изо всех сил боролся за эти права, в суде, и все такое, а его врач заявил:

— Уизерс не представляет опасности

так говорят, так говорят

что ему лучше, чем раньше, помните, когда его обнаруживали где попало, то на дороге, то на берегу, не тонущим, нет, его ласкали волны, омывая солью сердце,

так говорят, так говорят

хотя странная у них семейка, помните, его сестра Фрэнси сгорела в костре, а другая сестра Дафна становилась все более чокнутой, она еще пошла в старшую школу, училась и читала, и в итоге ее положили в больницу, в психбольницу

так говорят

а другая сестра, Цыпка, как все ее звали, Тереза, рано вышла замуж, вынужденный брак с каким-то студентом, и, когда она кормила грудью, они уехали на север

так говорят, так говорят

в семьях и не такое случается, хорошо, что он не женат, а сердце у него доброе, помните, он помог одному старику, дал ему кров, и постель, и еду; но он скупердяй, женат на деньгах, на пенни, трехпенсовиках и шестипенсовиках, и кутается в банкноты, как в пальто, чтобы не замерзнуть в холода; он готов на все, только не расстаться с деньгами

так говорят, так говорят

и он читает. Иногда читает что-то странное

и он вроде бы один раз напился, но это замяли

он вроде бы путешествовал на паруснике вокруг света, или только вокруг себя самого?

Чоклинов не оказалось дома, ни Джима, ни миссис, ни Фэй. Жалюзи были опущены, в ящике

у ворот стояла пустая бутылка из-под молока, изнутри устланная пылью.

— Они должны быть дома, — подумал Тоби. — Сейчас субботнее утро, а они никогда не уходят в субботу утром.

Он подошел к задней двери и громко постучал, но внутри царила тишина. Из трубы не шел дым, а из дверной щели в прачечной торчала газета. На крючке для бельевой веревки висело кухонное полотенце.

Тоби заметила соседка.

— Они уехали на выходные, — сказала она, радуясь и наличию информации, и расставанию с ней. — Какой прекрасный денек, верно?

Она ему улыбнулась.

— Ты, верно, Тоби Уизерс? Я сразу *подумала*, что ты похож на Тоби Уизерса. Они всей семьей укатили на выходные, миссис, мистер и Фэй, хотя Фэй уехала к Краджам, ну, к Альберту, ты же знаешь, ее жениху. Скоро счастливо выйдет замуж. Сможет не гнуть спину на шерстяной фабрике каждый божий день до самой старости.

— Неужели? — сказал Тоби.

— Да, ты же знаешь, если света белого не видеть, вмиг бледной поганкой сделаешься.

— Значит, выйдя замуж, — сказал Тоби, — она

будет жить на улице?

Соседка выглядела удивленной.

— Ты, видимо, шутишь? Конечно, она будет жить в доме.

— А, — сказал Тоби.

— Мне пора идти, — сказала соседка. — Передай привет матери, и мне правда пора идти. Мой муж ушел на болото, уток стрелять.

И Тоби сказал:

– Я ведь пришел к Фэй, чтобы забрать ее с собой, чтобы она стала мне женой, а я ей мужем. Я думал, мы спустимся на пляж в люпинах, но сначала посидим немного и посмотрим, как набегает море и темно-синие волны изгибаются, словно клюв птицы, клюющей кружева, да, я пришел за Фэй, я собирался опустить ее волосы в море, как водоросли, и взять ружье, блестящее и новое, смазанное маслом, и подстрелить маленькую райскую утку, и вырвать тусклые перья усталости из ее крыльев

и перевязать с любовью шрам на ее шее

на шее, которую я сверну, чтобы она умерла

шрам, оставленный ремнем, фабричным кожаным поводком

девушка каждого божьего дня, о да, я пришел за своей женой.

— Тоби, у тебя все хорошо? — спросила соседка.

Тоби нахмурился.

— Я думал, вы ушли, — сказал он, — на болото, стреляться.

Соседка выглядела встревоженной и поспешно удалилась в дом, чтобы рассказать кому-нибудь о чудаке Тоби Уизерсе, только некому было рассказать, мол, вы *только представьте*; худшее, что может приключиться в жизни, это когда некому рассказать.

Тоби медленно поехал домой. Он чувствовал себя измотанным. Вечером в кино, подумал он. О черт. Нет, нельзя выражаться, моя мать этого не одобряет. Бедная мама, я буду рядом с ней.

Он припарковал грузовичок в долине и пошел к дому по мосту. Дикие утки, беженцы, сидели на воде, словно приманки для охотников. От шагов Тоби они встрепенулись, расправили зеленые и синие перья над тугой коричневой поверхностью воды, прячущейся в берегах ручья, среди высоких зарослей мяты и спящих луковиц нарцисса и жонкиля.

— Ути-ути-ути, — крикнул Тоби и, цокая языком, обшарил карманы в поисках крошек, но откуда взяться крошкам у него в кармане, неваж-

но, — ути-ути-ути, маленькие красавицы.

Мне приснился дом в тысячу этажей
С тысячей окон и тысячей дверей,
Только наших там не было, дорогая,
Только наших там не было [7].

Тоби пошел по дорожке к дому. Наступило время обеда, и он чувствовал запах рагу с затонувшими в подливе картофельными камнями, которые кружат и плавают в своем теплом мирке бок о бок со слипшимися кусочками бифштекса. Дверь открыла мать.

— О, Тоби, — сказала она. Как будто он путешествовал сто или тысячу лет и только что вернулся. Она словно искала в нем, на его тяжелом обветренном лице отметины от соляной бури из неведомого океана, и посматривала на его большие, запачканные машинным маслом руки в поисках принесенных гостинцев: слоновой кости, павлинов, фиалок, золота…

ах, золото…

Она тепло пригласила его к столу, как будто он в путешествии умирал от голода.

— О, Тоби, тебе нужно поесть. Проходи, давай пообедаем. Ты видел Чоклинов?

---

[7] Примечания: 7

Стихотворение «Блюз беженцев» (*Refugee Blues*) англо-американского поэта У. Х. Одена.

Она спросила про Чоклинов, но на самом деле не про них, она имела в виду миры людей на других островах за островом Уизерс, на котором сбились в кучу Боб, Эми и Тоби, а еще дикие утки, кричавшие утром под зимними облаками.

— Ты видел Чоклинов?

— Их не оказалось дома.

— О, надо же, они ведь никуда не ходят по выходным. Может, Фэй была дома?

— Нет, она тоже в отъезде.

— Что ж, я приготовлю тебе обед и позову твоего отца, — сказала Эми торжествующим тоном, словно счастливый фокусник, готовый продемонстрировать безошибочную ловкость рук и сердца. — Дело в том, что твой отец наверху, он там уже полчаса. Я говорю ему пойти к врачу, а он продолжает принимать таблетки. Она склонилась к Тоби и прошептала: — У него кровь идет.

— Тогда он дурак, раз этого не понимает.

— О, не ссорься с ним, Тоби. Ты же знаешь, какой у тебя отец. Слушай, там утки кричат. Знают, что у нас они в безопасности. Им есть куда податься.

— Да, — сказал Тоби, — им есть куда податься.

19

Вы когда-нибудь были на кинопоказе в городе, где живут Уизерсы? Друг напротив друга стоят два театра: «Регент» и «Майами». В «Регенте» цены выше, и фильмы, что называется, первоклассные — не всякие там дурацкие мультфильмы, ковбойские сериалы и полуголые женщины на плантациях гевеи в окружении потных белых мужчин в футболках и шортах, общепризнанном наряде для тропиков. Богатые и образованные люди ходят в «Регент», чтобы пощеголять костюмами и мехами. На потолке фальшивое ночное небо, покрытое звездами, которые весьма правдоподобно мерцают в нагретом воздухе, над рядами богачей. Гаснет свет, тускнеют звезды, слышно довольное гудение. О, здесь и дышать все умеют с шиком.

В непритязательном «Майами», особенно зимой, холодно, и сквозь тяжелые бархатные шторы дует ледяной ветер. Туда ходят непросвещенные — свистеть и петь, и шуршать шоколадными бумажками, и улюлюкать всякий раз, когда герой и героиня целуются или когда она за ширмой снимает одежду, и все понимают, что героиня либо

идет спать, либо намерена принять, в рамках цензуры, ванну. Толпе нравятся поцелуи, постельные сцены и драки, в которых кого-нибудь таскают за волосы или бьют по лицу со смачными звуками.

— Скотина, как ты смеешь?

— Милый, ты для меня весь мир.

«Майами» рассчитан на публику попроще, и билет там стоит дешевле, чем в «Регенте». А если захочется посмотреть на звезды, нужно выйти на улицу, где их сияние дрожит в небе, подернутое морозом и холодными облаками. Их не погасить поворотом выключателя, и они совершенно бесплатны.

Очутившись в театре «Майами» в ночь на первое мая, вы бы увидели Тоби Уизерса, сидящего в одиночестве в четвертом от задней стены ряду. Он в новом галстуке и темно-синем костюме, лучшем. Его ботинки начищены, а жесткие каштановые волосы блестят от геля для волос из баночки в форме сердца, которую Тоби держал на полке в ванной. Он не знает, куда деть красные руки, покрытые намертво въевшейся грязью, поэтому они стыдливо и неуклюже свисают по бокам кресла. В кармане, хоть ее и не видно, лежит шестипенсовая пачка фруктовых конфет, немного апельсиновых и малиновых, лимонных,

клубничных, и Тоби не знает, какая попадется, пока не развернет фантик, это всегда был сюрприз. Еще у него с собой плитка шоколада. А в другом кармане — субботний выпуск «Спорт спешл» болезненно-желтого цвета: новости скачек и результаты матчей по футболу и крикету. А еще письмо дяди Джейми с жалобами, комикс о путешествии по Луне и статья о жизни звезд Голливуда. Тоби держал газету «Спорт» в кармане до самого дома, а потом вынимал ее у порога, и отец, идя в спальню, останавливался в дверях кухни.

— Давай-ка поглядим, что там в спорте творится, — говорил он, протягивая руку.

И Тоби раскрывал газету и клал ее на стол.

— Я сам еще не читал, — говорил он, вцепившись в болезненно-желтое сокровище, и ему хотелось не читать, а кричать или плакать от того, как его отец съеживался в дверном проеме в ожидании глотка губительной магии.

Итак, он сидел на кинопоказах в одиночестве. Однажды швейцар указал молодой женщине на место рядом с Тоби, и он потянулся было, чтобы помочь ей отрегулировать спинку кресла, и даже послал ей улыбку. Однако следом пришел ее спутник и сел рядом, и они придвинулись друг к другу, и перешептывались, и хихикали, и

ели мармелад, высовывая потом языки, чтобы посмотреть, какого они цвета.

— Мой какого цвета?

— Зеленый, а мой?

— Твой тоже зеленый.

— Наверно, лимонные попались.

И они находили этот поразительный вывод очень забавным и смеялись, смеялись над тем, что съели лимонные мармеладки.

Тоби подумал, если они продолжат в том же духе, мне будет не слышно фильм, уселись тут рядом и ведут себя как школьники. О, сейчас начнется. Зачем я пришел? Зачем я вообще что-то делаю? Когда прекратятся приступы? Взять хотя бы миссис Крат и ее мужа, она выглядит такой старой; и он тоже, а я помню, когда они казались довольно молодыми, она, бывало, стоит у дверей своей прачечной и смеется, и никто не знал, почему она смеется, стоя у дверей прачечной и глядя на мир. По пятницам она носила домой корзину, склоняясь под ее весом так, что едва не касалась земли рукой. Мы как-то взяли у них лопату и не вернули. А вот еще Билл Траут и Мэри. Забавно. Мы привязывали консервные банки к их машине и осыпали их рисом, а они дали нам по булочке с кремом, которые оказалась кремовыми только

наполовину. А теперь он один из начальников мясоперерабатывающего завода, у него лицо похоже на кусок мяса, а сам он толстый, и когда он только на прошлой неделе ездил в город, один из парней видел его там, и я спросил, что он делал, и тот парень ответил:

— Он почему-то глазел на витрину мясной лавки.

У них одна маленькая дочь, которая чуть что ложится и начинает кричать, и она, говорят, очень избалована. Похоже, сегодня здесь собрались все, кого я знаю, такая толпа. Когда-нибудь я выберусь отсюда и, может быть, махну на север, найду новое место и начну бизнес, и буду спокойным, и богатым, и любимым; но уже слишком поздно.

Тоби взял верхнюю конфету из кармана, снял фантик и сунул ее в рот. Малиновая. Теперь язык будет красным, подумал он. Точно? Посмотреть и убедиться некому. Наверное, следующая будет апельсиновая, а может, снова малиновая, иногда бывает две малиновых подряд, или лимонная, или вишневая, интересно гадать.

Тоби скомкал серебристую обертку и стиснул ее в кулаке. Его рука слегка дрожала, и он уронил бумажный комок на пол. Начался мультфильм. Он уставился на экран и увидел крошечного

человечка, который становился все больше и больше и убил дикого льва.

Зрители расслабились и засмеялись, согревшиеся и довольные.

20

Тоби не писал писем. Поэтому он удивился, получив на следующей неделе письмо от Фэй Чоклин, которая написала аккуратным почерком:

> Дорогой Тоби, я отсутствовала на прошлой неделе и с тобой не увиделась, но наша соседка сказала, что ты приходил к папе с книгами. В воскресенье (в ближайшее воскресенье) у нас будет чаепитие в честь папиного дня рождения, и он хотел бы, чтобы ты пришел, если сможешь. Папа попросил меня написать тебе письмо, так как сам он в этом не силен.
>
> ***С уважением, Фэй Чоклин.***

Эми Уизерс достала письмо из ящика у ворот. У нее перехватило дыхание, и она прижала одну руку к сердцу, а в другой было письмо. Эми положила его на каминную полку, лицевой стороной вверх, чтобы Тоби увидел, когда придет домой, и села на диван. Ее лицо раскраснелось, подступила усталость. Все из-за моего сердца, подумала она, из-за него я такая. Оно-то и подведет меня

однажды днем или ночью. Интересно, от кого письмо. Я просто буду лежать здесь и наблюдать за белоглазками на старой крыше, а потом возьмусь печь песочное печенье на выходные.

Тоби пришел домой, уставший и замерзший, с местной газетой в руке. Он сел, чтобы прочитать ее прежде, чем из сада вернется отец.

— Есть почта?

— Тебе письмо, Тоби. Почту принесли поздно.

— В последнее время всегда так. Почему ты не позвонишь?

— Позвоню, Тоби, если опять опоздает.

— Ты всегда обещаешь позвонить и никогда не звонишь.

— Почему ты не читаешь письмо? Наверное, оно от твоей девушки, — мягко и вкрадчиво сказала Эми.

Тоби покраснел.

— Будет тебе, мам, ты знаешь, кто *моя* девушка. — Он посмотрел на нее и улыбнулся. — Выглядишь усталой, мам. Посиди, отдохни.

Она рассмеялась.

— Снимай сапоги, Тоби, и грей ноги. Я позову отца на чашку чая. Он в саду. Фасоль пережила морозы.

В дверь вошел Боб Уизерс, с подозрением взгля-

нул на Тоби и Эми и сел в свое любимое кресло у огня.

— Я победил морозы, мать, — сказал он.

— О, Боб, я так рада. А картофель ты спас?

— Да, картофель, горох и капусту.

— Какое счастье, Боб.

Она с гордостью посмотрела на мужа, победившего мороз, потом с гордостью посмотрела на сына, который собирался снести гостиницу и зарабатывать все больше и больше денег; но она чувствовала тревогу за него, из-за того, что денег все больше и больше, а еще из-за вечеринки, приглашения на воскресенье.

И она стояла, разливая чай в чашки. Она увядала и старела, она походила на старый почтовый ящик, в который год за годом летели обрывки новостей и тревог, страхов и любви, присылаемых мужем и сыном. Она перетряхивала новости внутри себя, чтобы передать их от одного к другому и установить между ними мир. Так что:

— О, Боб, Тоби получил приглашение от Фэй Чоклин приехать к ней на день рождения в воскресенье. — Она говорила спокойно, мучая себя смыслом слов. — Наконец-то попал в ее лапы, а, Тоби?

Тоби молчал. Он зашуршал газетой, чтобы

отомстить отцу и дать понять, мол, вот вечерняя газета, и Тоби первым ее прочел. Боб Уизерс подался вперед.

— Дай нам первый лист, Тоби, — сказал он.

Тоби встал с дивана.

— Можешь взять хоть все, папа, я закончил. Там одна ерунда. А Фэй Чоклин, кстати, помолвлена.

— Ты нас просто дразнишь, — удивленно сказала его мама.

Тоби посмотрел на нее, как бы говоря, да, я шучу, это неправда; потом загадочно улыбнулся, пошел в свою комнату и там сел на кровать. Он вынул письмо из кармана и перечитал. С уважением, Фэй Чоклин. Указала фамилию и написала, мол, папа хочет, чтобы ты пришел. Мама и папа хотят, чтобы ты пришел. Если оторву нижнюю часть и оставлю письмо лежать на виду, никто не узнает, что она не добавила: Твоя навсегда, Фэй. Или: Очень люблю. Но кто его найдет и где мне его оставить? И кого оно будет волновать, даже если его найдут, кто будет гадать, что там написано? С любовью, Фэй. Если только. Он прочел письмо вслух, каждое слово, от начала, Дорогой Тоби, до конца, С любовью, и, читая, он улыбался. Затем понюхал письмо. Лаванда, ландыш, французский папоротник, а какими духами пользовались его

сестры? Цыпка, которая живет на севере, замужем, с детьми, в шикарном доме, обставленном по последнему слову техники, и Фрэнси, которая совсем юной погибла в огне, а он сидел на диване в доме Харлоу, в доме будущей свекрови Цыпки, и у него случился припадок, потому что гигантский еж с горящими иглами протиснулся за ним в дверь; и Дафна, в больнице и уже давно странная.

С любовью, Фэй.

Мне приснился дом в тысячу этажей
С тысячей окон и тысячей дверей,
Только наших там не было, дорогая,
Только наших там не было.

Он где-то прочитал эти стихи, почему он их запомнил?

Потом Тоби разорвал письмо и вынул из кармана кошелек, чтобы пересчитать деньги, поскольку деньги были теперь главным сокровищем, и водил большим пальцем по ребристым краям шестипенсовиков, шиллингов, флоринов и полкрон. Он катал серебро и медяки по туалетному столику, пока они не замирали, потеряв равновесие. К следующему году, думал он, у меня будет достаточно денег, чтобы открыть собствен-

ное дело. Или раньше. Так что сядь поудобнее и расслабься.

21

На день рождения Тоби не пошел. Не пошел он весной и на свадьбу Фэй Чоклин и Альберта Краджа, хотя читал заметку в газете и получил приглашение, написанное серебристыми буквами с завитушками.

— Ты хотя бы отправь подарок, Тоби, — сказала его мать.

— Что я могу ей послать?

Мать сказала:

— Ну, не надо ничего личного вроде нижнего белья или украшений; просто что-нибудь маленькое, может быть, для дома, кухни или столовой, или что-нибудь для цветов, что-нибудь маленькое и полезное. Вот как полагалось в мое время.

Поэтому Тоби за неделю до свадьбы купил пару лучших льняных простыней и полдюжины кухонных полотенец и, взяв их с собой, отправился к Фэй. Она была дома одна и пригласила его в комнату, проведя мимо гостиной, где на столе и на диване лежали свертки и коробки.

— Большое спасибо за полезный подарок, Тоби. Все так ко мне добры. — Она казалась удивленной. — Ты даже не представляешь, насколько все

добры. Старушка, живущая по соседству, прислала мне прелестную льняную скатерть с синими уголками, узором из ветвей ивы, с влюбленными, переходящими мост, и с милыми волнистыми китайскими деревцами. Я бы очень хотела поехать в Китай. Вот было бы замечательно, если бы мы с Альбертом попали в Китай, да?

— Да, — ответил Тоби, подумав. Она работает на шерстяной фабрике. Вдруг она ослепла, и ее глаза превратились в неоновые лампочки? Лицо бледное, а руки двигаются взад-вперед, как челноки, наполненные мечтами о завтрашнем дне, когда она наконец умрет.

— Китай моя любимая страна, — сказала Фэй. — Мне всегда нравился Китай.

Она говорила так, будто речь шла о каком-то блюде, которое ей с детства готовили, а она с удовольствием ела, в то время как другие считали его невкусным и воротили носы.

— А мне нравится Индия, — сказал Тоби.

— Правда? Как любопытно. Проходи, садись, я заварю чай. Ты, конечно, знаешь Альберта?

Тоби сказал, что знает Альберта. Однако он не сказал, что Альберт Крадж был тем самым маленьким мальчиком, который каждый день поджидал Тоби у школьных ворот и бросался на

него с кулаками, а Тоби никогда не мог дать ему сдачи, потому что Альберт был калекой и ходил с тростью.

— Ага, припадочный, припадочный, — повторял Альберт.

Впрочем, тогда он был еще мальчишкой. Теперь он мужчина, работает в отделе социального обеспечения, помогает людям заполнять бланки и определять, сколько денег они зарабатывают; штампует конверты и рассылает пособия по болезни; доверительно беседует с людьми. Теперь у него высокая должность, и, даже оставаясь частично калекой, он ездит по городу в современной зеленой машине, прижавшейся к земле и с жалюзи сзади.

Возможно, он один из тех, кто делал записи в бухгалтерских книгах, подумал Тоби. А Фэй — одна из девушек, которые ездили на велосипедах, как говорили Дафна и Фрэнси,

против северного ветра или подгоняемые южным ветром,

который принес белый сверток снега, развязанный

и рассыпанный.

И теперь они женятся и умрут. Они живут с тех пор, как я был маленьким мальчиком, и тогда они

были того же возраста, что и сейчас, потому что остановились, застряли в темноте с тех пор, как я был маленьким мальчиком и наблюдал за ними с Фрэнси, Дафной и Цыпкой, самой младшей, и ей приходилось догонять остальных и высыпать камешки из туфель. Или это разные тела, но одни и те же люди.

Фэй вышла из комнаты, чтобы вскипятить чайник на чашку чая. Она пела:

Из семи одиноких дней — одна одинокая неделя

Из семи одиноких ночей — один одинокий я [8].

Она счастлива, подумал Тоби. У нее длинные волосы, как у всех фабричных девиц, и что-то вроде пучка на затылке; поговаривают, волосы в таких прическах накладные и их можно купить в парикмахерских, где в витринах выставлены гипсовые женские головы с золотыми и темными волосами после химической завивки, и чувствуется запах гари, когда проходишь мимо двери. Возможно, подумал он, у Фэй накладные волосы; она снимет их на ночь и повесит на гвоздь в углу своей спальни. И Альберт не будет возражать,

[8] Примечания: 8

Песня «Семь одиноких дней» (*Seven Lonely Days*), впервые исполненная в 1953 году Джорджией Гиббс.

потому что у него фальшивое сердце; другое его сердце напечатано на бланке и изъедено едкими чернилами.

А Фэй, подумал Тоби, красит губы помадой, притворяясь, что в ее бледности есть кровь, что вся ее кровь год за годом не вливалась в неоновый солнечный свет фабрики, который рисует кровь так же, как естественный солнечный свет рисует цветы. Она завязывает губы красной лентой, бантиком, который развяжет Альберт Крадж, и оба найдут пустой сундучок сердца и не узнают, что отдел социального обеспечения и шерстяная фабрика раздобыли ключ и с ним не расстанутся, во веки вечные. Если бы я действительно любил Фэй, а она меня, и мы бы поженились, я по частям отдавал бы себя фабрике до тех пор, пока не обанкротился и не превратился бы в бездушную крутящуюся машину, которая изо дня в день воспроизводит одни и те же слова, до конца жизни.

Тоби посмотрел на Фэй, вошедшую в комнату, и задумался, осталось ли клеймо работницы фабрики у нее на плече, по которому ее хлестали, подгоняя, фабричным ремнем.

Остались ли на ней следы, какие он видел в тот день, когда они вместе ходили на пляж, и он бросил ее волосы в воду, прострелил ей сердце и

ощипал птичьи перья?

Фэй поставила чай рядом с ним на стол.

— Не смотри на меня так, Тоби. Я тренируюсь быть хорошей хозяйкой. Добавить молоко и сахар? Чай сделать крепкий?

— Молоко и сахар, — быстро ответил Тоби. — Пожалуйста.

Она смотрела на него, улыбаясь и думая, он точно знает чего хочет. Говорят, мать слишком его опекает. Я надеюсь, Альберт станет относиться ко мне как к жене, а не как к матери, которая обязана его холить и лелеять.

Наливая для Тоби чай, она с волнением подумала, Альберт пьет крепкий без молока. Я буду помнить это всю жизнь. И он кладет *две* ложки сахара.

— Возьми кусочек торта, Тоби. Я сама делала.

Тоби слушал, как Фэй рассказывала рецепты тортов, которые она пекла.

— Надо все очень тщательно взвешивать, особенно муку, и никогда не позволяй разрыхлителю стать влажным. Только не думай, что меня одомашнивают ради замужества. Не думай, потому что это правда.

Она улыбнулась ему еще раз. Ей стало жаль Тоби Уизерса, с виду недотепа, и так не краса-

вец, еще и припадками мучается, и деньгами одержим, хотя *о последнем* едва ли стоит сожалеть, напротив, эта черта вызывала восхищение. Альберт такой же. О да, подумала она, у меня подходящий муж. И в доме будут новенькие жалюзи, которые не нужно вытирать, новейшие из новейших жалюзи. Бедный Тоби. Насколько я знаю, у него никогда не было девушки.

— Раньше я не любила готовить, Тоби, но теперь люблю, — гордо сказала она. — Ну, как тебе?

Тоби сказал, что ему нравится. Он устал от пребывания в комнате; будто начался своего рода припадок, хотя и не совсем. Хотелось покинуть Фэй, вернуться домой и пересчитать свои деньги, чтобы во всем убедиться. Хотелось пойти домой, достать новый, недавно купленный Атлас и рассмотреть от начала до конца названия мест, прекрасные краски пастбищ и кукурузных полей, изображения гор с крошечными трехпенсовыми снежными шапками. Хотелось сидеть в своей комнате и водить пальцем по просторам мира. И изучать диаграммы о добыче золота, железа и стали, и увидеть сжатые снопы пшеницы и разные голубые моря, его собственное — Тасманово, и Тихий океан, и другие океаны, все дальше и все голубее — Индийский, Антарктический,

Адриатику.

Но Фэй сказала:

— Взгляни на мои подарки, Тоби.

И она повела его в гостиную, которая, казалось, была доверху полна одеял, простыней, полотенец, кастрюль, сковородок, ножей, вилок, чашек, блюдец и часов.

— Обеденный сервиз от Мортонов. А вот и скатерть. Разве не прелесть? Я тебе все это показываю, потому что ты не придешь на свадьбу. А я не могу не похвастаться подарками. Только посмотри, сколько носовых платков и салатниц. — Ее переполняли чувства. — Девчонки с фабрики подарили тостер и подставки для тостов и ради меня устроили общее собрание, директор произнес речь о том, какой хорошей работницей я всегда была. Я не знала, что люди по-другому начинают к тебе относиться, когда выходишь замуж. Раньше меня ругали за лень, а теперь сказали, что я хорошая работница, которую жаль терять.

— Каково было работать на фабрике?

— Так же, как и везде, я полагаю. Машины и шум, но утром и днем перерывы на чай. И скидка десять процентов или больше на шерстяные изделия. Я набрала одеял для дома почти сразу,

как только начала работать на фабрике.

— А когда ты будешь ложиться спать в своем новом доме, они тебе не будут навевать воспоминания?

— Не говори глупостей, Тоби. Вряд ли я, ложась спать, стану размышлять об одеялах.

Тоби смутился. А потом спросил серьезным тоном:

— Ты носила кожаный ремешок?

— Что?

— Кожаный ремешок. Ну, на шее, от него еще отметины остаются. Я когда-то слышал…

Фэй прервала его:

— О, какая старая байка, ты же не веришь *в нее* на самом деле? Просто *детские* фантазии.

— В детских фантазиях всегда скрыта правда.

— И в сказках про фей и великанов? Тоби Уизерс!

— Да, великаны и феи бывают в разных формах. Есть гигантский бомбардировщик и гигантское одиночество.

Фэй сочувственно посмотрела на Тоби. Бедняга. Подумать только, ему тридцать или даже больше. И поверил в байку про ремешок и отметины.

Фэй озорно улыбнулась.

— Можешь посмотреть, если хочешь, поискать

отметины, — сказала она. — Хочешь посмотреть и убедиться?

— Не глупи. Я просто поинтересовался.

— Тогда осмелься проверить.

Фэй наслаждалась собой. Она расстегнула кофточку, обнажив плечо и часть груди. Под свитером обнаружилась тонкая розовая штучка с кружевом по краю. Тоби глазел в ужасе и восхищении, а Фэй соблазнительно ему улыбалась.

— Тоби Уизерс, ты что, голого плеча никогда в жизни не видел? Не гляди с таким страхом.

— Я не боюсь, — сказал Тоби, краснея, и чем больше он убеждал себя, что не испугался, тем больше краснел. — Я думаю, Фэй Чоклин, что ты просто женщина, которая сидит передо мной полураздетой, хотя без пяти минут замужем.

— Прости, Тоби, но ты ведешь себя *грубо*. Спасибо, конечно, за прекрасные подарки, и мне жаль, что ты не сможешь прийти на свадьбу. Прощай, Тоби, и уж извини, что у меня нет отметины на плече.

У двери Тоби обернулся:

— Знаешь, у тебя *ест*ь отметина, Фэй. Я видел. Все мы носим похожие отметины, потому что всех нас жизнь помечает клеймом, меня тоже. Это правда. Я мало что знаю и, например, не

умею правильно писать, и я никогда не научусь писать и не пойму, что говорить таким людям, как ты, зато у меня в комнате есть книги, атласы, которые рассказывают о мире, о морях, и первые карты всевозможных мест.

Он не попрощался, сразу поспешил по дорожке к своему грузовичку. Сел в машину и уехал, а Фэй смотрела в окно. Она думала: Я сама испугалась. Несмотря на голубую скатерть, и тарелки, и простыни, и серебряные чайные ложки с апостолами на ручках. Я испугалась, потому что вот-вот что-то должно было произойти, а Тоби Уизерс такой странный, из-за него у меня появляется чувство, будто фабрика меня захватила и иссушила, как мумию. И она застегнула кофточку и положила руку на плечо, где должен быть след от кожаного ремешка; а потом расплакалась, и когда ее мать пришла домой, она застала дочь рядом с подарками и в слезах, и сказала:

— Это предсвадебное волнение, Фэй. Подожди немного, и ты очутишься в своем маленьком домике, будешь подметать крылечко и развешивать белье на новенькой веревке.

Так и получилось. Фэй вышла замуж, весенняя свадьба, если заглянуть в светскую рубрику газеты — блистательная в белых кружевах и

старинной фате, прикрепленной к волосам крошечной веточкой померанцевого дерева.

Глория, двоюродная сестра Альберта, которая пела в церковном хоре, исполнила «Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А после свадьбы был завтрак, на самом деле ужин, потому что свадьба состоялась вечером, но банкет называли все равно завтраком, в «Браун-Холле», который обошелся в два раза дороже, чем ресторан «Уютный уголок»; и подавали три вида пирожных с кремом и много фруктового салата, а спиртного, разумеется, ни капли, только безалкогольные напитки, потому что родители Чоклинов и Краджей не одобряли; однако все прошло как по маслу, если их спросить, даже несмотря на то, что усталые официантки, вынужденные работать допоздна, не отличались любезностью. О, прекрасная была свадьба, все так говорили, и в ту же ночь жених и невеста уехали в медовый месяц на озера.

И в ту ночь Тоби сидел в своей комнате и читал Атлас. На внутренней стороне обложки была карта, а на ней надпись на старинный манер: *Новая карта земного шара в соответствии с последними открытиями и наиболее общим разделением*

его на континенты и океаны [9].

Тоби снова и снова перечитывал слова, а затем перевернул страницу и отправился к Южному и Северному полюсам и остальному миру, который не был ледяным и где все в блеклых цветах морских ракушек. Гвинейский залив. Марокко. Азия. Он прикоснулся к золотым стогам пшеницы и болотной траве, к муссонным лесам и солончакам, безлесным каменистым пустыням и ужасной крошечной черной точке, которая означала, что миллионы людей пресмыкались перед миром желтого солнечного света. И он пересек моря и океаны, Тасманово, Тихий, Адриатическое, Антарктический, и безымянный континент на последней странице, с выжженной отметиной от кожаной бури; он пересек моря одним взмахом своей красной, грязной руки. Как просто путешествовать, да еще в такую ночь, весеннюю ночь, когда воздух так густо насыщен боярышником, сливой и напудренными сережками деревьев, что их нужно растолкать локтями и подвинуть в сторону, прежде чем сделать вдох.

Ивы на берегу ручья щеголяли нежнейшей зеленью, и груши, и дубы раскинули свои ветви

---

[9] Примечания: 9
Карта мира, выполненная географом Эдвардом Уэллсом в 1700 г.

у старого свинарника и спрашивали с каждым проклюнувшимся листочком: Кто же съест наши желуди, когда они вырастут? Много лет назад, еще до Уизерсов, люди держали свиней, которые шуршали мертвыми дубовыми листьями и глотали блестящие желуди, которые сыпались дождем, как смерть, и лежали втоптанными в землю, пока некоторые из них не взмывали вверх, как маленькие зеленые перископы, и…

— Мало-помалу, — сказала бы Эми Уизерс, которая помнит наизусть и любит цитировать стихи, — Мало-помалу, желудь сказал [10].

Если выглянуть на улицу в эту весеннюю ночь, невольно думаешь, что никогда не будет ни зимы, ни пятен смерти, будет только сегодня и сегодня, и люди женятся и фотографируются, чтобы поместить снимки в газету или держать на каминной полке первые десять лет, а потом убрать в ящик стола; в них бросают рис, у них смеха ради крадут ключи от чемодана; а растерянные молодые старики тридцати двух лет сидят в одиночестве в своих спальнях и путешествуют через синие мешки морей к бумажным полям кукурузы; только сегодня и сегодня, и матери с отцами сидят

---

[10] Примечания: 10
Строчка из детского стихотворения неизвестного автора.

в кухне, полуспят, полуслушают радио, которое рассказывает о мыле, средствах для натирания пола и цейлонском чае; а потом пьют чай из своих чашек и едят песочное печенье, в котором проколоты дырочки, чтобы оно дышало; и все Цыпки, живущие на севере, далекие и взрослые, пишут, сидя у каминов, дышащих драконьим теплом.

— Мы едем жить на юг. Тим купил нам дом. Извините, что на открытке.

А все Дафны сидят где-то в сумасшедшем доме, в маленькой комнатке с закрытым окном и соломенным матрасом, и поют; а все Фрэнси сгорают навсегда в лощине памяти, отороченной тои-тои.

Можно подумать, что в эту ночь миру, наполненному цветением, любовью и смертью, придет конец, и воспоминаний о нем не останется нигде, разве что на стене пещеры нового времени, где фигуры исполняют танец, застывший в неподвижности глины, или мела, или камня.

Вот что можно подумать весенней ночью.

Увы, то, что мы думаем, не существует в действительности.

22

Через неделю Тоби получил по почте небольшую жестяную шкатулку со свадебным тортом от мистера и миссис Альберт Крадж, что лежал в гнезде из розовых и голубых бумажных ленточек. Тоби уже собирался его съесть или хотя бы попробовать, когда мать сказала:

— Тоби, Тоби, если лечь спать с тортом под подушкой, тебе приснится будущая жена. Нет, нет, — исправила она сама себя. — Это только для девушек. А если *ты* ляжешь спать с тортом под подушкой, тебе приснится будущее, и это принесет удачу. Не то чтобы я верила в удачу, на все воля Господа. Класть торт под подушку — просто странное суеверие.

Тоби сказал, что вряд ли будет спать с тортом под подушкой.

И его мать сказала:

— Ну, тогда мы пошлем его Дафне, бедняжке, как же она там. Они ведь никогда нам ничего не говорят, и она не пишет, а мы не можем ее навестить. Я уверена, что от кусочка свадебного торта она бы не отказалась.

Так что было решено отправить торт Дафне,

и Тоби поставил его на тумбочку у кровати, чтобы не забыть отправить на следующий день. Однако в ту ночь, ложась в постель, он подумал, ну, я видел, как папа спит с тортом под подушкой; торт, свадьба и Рождество, а еще фигурки корнуоллских эльфов, которые он заказывал, и волшебная вода, исполняющая любое желание. Вдруг ко мне придет удача. Мне не помешает удача, чтобы снести гостиницу «Петеркин» и заработать денег. Глупое суеверие, но попробовать-то можно.

Он положил серебристую шкатулку под подушку и лег в кровать. Сначала он подумал о Фэй Чоклин… нет, о Фэй Крадж и ее муже с запертыми в них фабриками и бухгалтерскими книгами, и ему стало интересно, чем занимается Фэй в это время, и нравится ли ей быть замужем, и изменится ли ее внешность, когда они в следующий раз увидятся. Будет ли у нее ребенок? Каково иметь сына или дочь? А на что похоже быть женатым?

А потом Тоби подумал о мире, о Барселоне, Берлине и Лондоне, и о словах, которые застряли у него в голове: *Скажем, в этом городе десять миллионов душ.*

И подумал о низкой траве, высокой траве, скошенной траве, траве на горных пастбищах,

болотной траве, мангровых зарослях. О саванне в пустынях и солончаках. О дрейфующих льдах и среднегодовых осадках. Обо всех континентах, покрытых шрамами и сожженных ветром и дождем. Тут у него зачесалось в носу, и Тоби вынул из него шарик, покрутил между большим и указательным пальцами и вытер о подушку. Затем свернулся клубочком, пригревшись, как зародыш, и заснул, плывя без единого вдоха по Адриатическому морю, по серой воде Гольфстрима.

И увидел сон.

В этом сне он сидел в холодном яблоневом саду на осколке луны. Он сидел в центре кольца из тои-тои, увешанных ледяными яблоками. Он бы сорвал одно и съел, ведь он любил яблоки, но вокруг него танцевали три ведьмы, распевая песню, о которой говорила ему Дафна, они пели, три ведьмы, с Гекатой, на пустоши, среди грома и молний.

— Будет он с проклятьем жить [11], — пели они.

Затем они перестали петь и сели, скрестив ноги, накрыв колени длинными юбками, и стали качать три колыбели, каждая из четвертинки луны; и Тоби задумался, где же четвертый осколок,

---

[11] Примечания: 11

Цитата из трагедии «Макбет» Уильяма Шекспира. Богиня лунного света и чародейства Геката была придворной дамой у леди Макбет.

и даже испугался, пока не вспомнил, что сидит на нем в ледяном яблоневом саду. Но где же мир, подумал он? Мне нужен крошечный телескоп, хотя бы игрушечный, сделанный из палочки ириски, которую я мог бы потом съесть, мне нужен только телескоп, дешевый и пластмассовый, из «Вулвортс» [12], однако для моих нужд пусть будет крепче, нежели трость Альберта Краджа; и я не буду тратить много денег на телескоп; только чтобы посмотреть, чтобы я мог познать мир и увидеть свою жизнь, и свою мать, и отца, и трех сестер на острове с огнем в центре, в окружении моря из зеленой паутины забвения; а напротив Фэй Чоклин, фабричная девушка, и ее Альберт, сотрудник службы социального обеспечения, обитающие там, куда я никогда не доплыву; и он схватил свою жену, я знаю, он схватил ее и нарезал бледными ломтиками, как морскую ракушку, чтобы день за днем бросать ее обратно в воду; и зажал ее, как цветок, между страницами большой черной книги осуждений, на обложке которой вычурными серебристыми буквами, как на свадебном приглашении, написано:

Новая карта земного шара в соответствии

[12] Примечания: 12

Крупнейшая в Австралии сеть супермаркетов и продуктовых магазинов, основанная в 1924 г.

с последними открытиями и наиболее общим разделением его на континенты и океаны.

Затем во сне Тоби заплакал, потому что был один, и у него случился припадок, а средняя ведьма перестала качать колыбель, подошла к нему и сказала:

— Не плачь, Тоби, съешь яблоко. Здесь нам ничто не грозит. Никто не узнает, что оно украдено.

Она дала ему ледяное яблоко, которое таяло зеленым и красным в его теплой ладони, зеленое превращалось в море, красное в кровь, и по четвертинке луны текли соленые ручьи. Он мыл в двух ручьях лицо и руки, стараясь убрать черноту из-под ногтей и никотин с пальцев; в то время как три ведьмы — Фрэнси, Дафна и Цыпка — качали колыбели, в которых лежали она сами младенцами, сладко сопя, с липкими теплыми личиками, словно котята, которых уложили сосать пушистую маму.

Но где же я, подумал Тоби. Для меня нет места. Где моя колыбель?

— Укачайте и *меня* тоже, — попросил он трех ведьм.

И одна из них, или все вместе ответили:

— Мы боимся тебя, Тоби. Вдруг у тебя будет

припадок.

А потом он снова задумался. Где же мир? Может быть, стоит спросить у ведьм, куда подевался мир, ведь мне нужны деньги, еда, одежда и какое-то общественное положение. Иначе меня арестуют здесь за бродяжничество и бросят в море или сожгут, когда наступит утро, и в кругу тои-тои вновь зажгутся старые костры.

Он поманил к себе Фрэнси.

— Фрэнси, ты старшая и сможешь мне ответить. Где взять деньги на сокровища?

Фрэнси рассмеялась и тряхнула длинной юбкой. Он заметил, что у нее выщипаны брови и накрашены губы.

— Тоби, разве ты не знаешь, что наше сокровище прямо здесь, *взгляни*, это книги, и ценные записи, и вещи, которые мы находим, и мы сидим здесь, а небо катится по кругу, как голубой, белый и молочно-серый стеклянный шарик. О, Тоби, неужели ты не знаешь? И сосна роняет иголки, которые падают и зашивают наш плач. — Она снова взмахнула юбкой, нахмурилась, как настоящая ведьма, и бросила высокомерно: — Ну и не верь мне, если не хочешь. Спроси Дафну или Цыпку. Давай, спроси. Или я все расскажу.

— Кому ты расскажешь?

— Я скажу папе, и *тогда* тебе зададут порку и заставят наполнять ведро углем, а он будет наблюдать и командовать. Или скажу маме, но она тебя не накажет. Она предостережет тебя и поцелует.

— Или я скажу Богу, и тогда ты уж точно пожалеешь. Он запишет тебя в свою книгу, и в день воскресения, на глазах у людей Бог назовет твое имя с трибуны, и тебе придется встать перед ним и выдержать его суд, пока мы наблюдаем, пока все смотрят. А в толпе будет жарко, и люди будут раскупать мороженое и холодную газировку так быстро, что продавцы едва будут успевать их протягивать, но *ты* не получишь ни мороженого, ни холодной газировки, шипучей и яркой, и сладкой ваты тоже. Тебе не позволят пойти и взглянуть на бородатую даму и толстяка в антракте, пока Бог пьет чай в специальной палатке. Да, Тоби Уизерс, я все про тебя расскажу.

— Что ты расскажешь?

— Я сейчас забыла, однако расскажу, не сомневайся. — Фрэнси снова взмахнула юбкой и стала качать колыбель, напевая: — Эй, ты, озорная птичка, дождь идет, спускайся к нам.

Тогда Тоби повернулся к Цыпке и сказал:

— Цыпка, я закончу жизнь в тюрьме, если у

меня не будет денег. Где найти немного денег?

Цыпка перестала качать свою колыбель, подошла к нему и обняла за плечи. Но тут же убрала руки.

— Тоби, у тебя шея жирная, и волосы тоже, если ничего не предпринять, у тебя на затылке появятся фурункулы, и они долго не заживут. Тебе нужно запастись пенициллином, он ускорит заживление. У одного из детей появились фурункулы как раз в прошлом году, и я намучилась. Врач сказал, что он никогда не видел такого у детей. Сказал, что случай уникальный. Он советовал детям какое-то специальное лекарство, что-то поновее пенициллина, очень дорогое; конечно, у нас есть деньги, Тим зарабатывает в своей фирме. Однако цены в наше время фантастические. Ты говоришь, что хочешь денег. Ты их здесь никогда не найдешь. То, что мы привыкли считать сокровищем, на самом деле никакое не сокровище. У нас было детское мировоззрение, его не может быть у взрослого, который вынужден приспосабливаться к жизни в обществе. Я пытаюсь воспитать своих детей так, чтобы они знали цену вещам. Как будто в Риме, говорю я им. Я учу их обращаться с деньгами, потому что деньги — самое главное или почти главное в

нынешнем обществе. Ты тоже понимаешь, что деньги — это сокровище, и я рада. Конечно, я допускаю, что есть и духовная сторона, любовь и все такое. Мы стараемся дарить нашим детям любовь по несколько часов в день, чтобы они чувствовали стабильность. Советую тебе, Тоби, как можно скорее заняться каким-нибудь прибыльным делом. Но я хочу…

Она замолчала, так и не рассказав о своем желании, и заглянула в колыбель. Тоби тоже заглянул и увидел маленькую Цыпку, что крепко спала и видела сон о будущем огромном мире, меняющемся, тающим и теплом, как анисовый леденец во рту.

Затем он повернулся к Дафне, которая качала свою колыбель и напевала что-то вроде:

Просеяв «где» и «как» сквозь облака,
Дай подрумяниться морскому пирогу,
Скорее съешь и солнце выключай,
Умри монетой хладной в печке «почему».

Она перестала петь и раскачиваться и посмотрела на что-то позади Тоби. Испуганный, он оглянулся через плечо и увидел легкую и значительную каплю пустоты.

— Тоби, — сказала Дафна. — Мы копали яму, а кто копает яму, тот в нее должен упасть; но только ведьма Фрэнси копала огонь; и Цыпка, теперь Тереза, наполнила яму серебром, и медью, и золотом, и тремя детьми, и Тимоти Харлоу, и построила дом над ямой, чтобы там жить; а я, несгоревшая Дафна, живу в центре, брошенная в смятенный сон; а ты, Тоби, там и не там, ты посреди мучительного пути, где

Ожоги на рукаве хуже огня,

Быть наполовину, чем знать, где,

Словно моря до несчастного моряка.

Бедный ребенок-торговец, без сокровищ.

Затем Тоби увидел, как они втроем танцуют, качают колыбели и напевают, превращаясь из Фрэнси, Дафны и Цыпки в костлявых женщин, кричащих «Аии-аии-аии» все громче, их лица стали похожими на часы, светящиеся, пронумерованные до двенадцати, их волосы встали дыбом, звеня, как пятичасовой будильник. Затем тишина и темнота, и дрожащая трель новой птицы, проснувшейся на белой груше за окном.

23

Утром он этого сна не помнил, потому что, как правило, его памяти хватало только на…

— Ночью мне что-то снилось, что-то странное, про подзорную трубу и пирог, да, вроде кто-то готовил яблочный пирог.

Он рассказывал свой сон за завтраком, за беконом, яйцами и гренками, и яйцо кровоточило желтком на тарелке, а его мать, поглядывая на Тоби, приготовила завтрак мужу и поставила тарелки на полку над печью, чтобы не остыли, тапочки придвинула ближе к огню и сказала:

— О, Тоби, я и не заметила, что оно не прожарилось.

Тоби, занятый воспоминаниями о сне, тоже не замечал, пока мать не указала на поплывшее, наполовину готовое яйцо; и он вскричал так, как научился у своего отца.

— Разве я не говорил, что яйцо надо жарить, пока оно не сморщится сверху и не затвердеет, и что я не люблю, когда оно жидкое? — И затем, вернувшись к своему сну, он добавил: — Да, что-то про яблочный пирог, а я разглядывал атлас, разные страны. Кажется, я был на луне.

— Вот ведь странно, — сказала Эми, — сегодня в утренней газете пишут о Луне и о полетах на Луну. Дескать, там собираются строить курорты. Так твой отец говорит.

Эми Уизерс сама газету не читала — времени не было. Ее муж наверху предавался унынию, а она готовила ему завтрак и держала заварочный чайник в тепле, пока вода кипятилась, и сквозь сизый дым и шипение одного безликого дня за другим она чувствовала отчаяние оттого, что не справляется, что позволяет яйцам течь на тарелки и забывает напоить кур. Разговоры о сне и слова яблочный пирог, атлас и луна навестили ее как старые друзья, чтобы утешить в вечной горькой печали из-за кулинарии и общей кутерьмы; из ее собственного мира, давно задушенного, несбывшегося и притягательно возможного. Она ухватилась за слова яблочный пирог, сон, луна и связала из них теплое полуминутное убежище от бесконечных тревог.

— Тоби, — сказала она, — твой сон означает путешествие. Я думаю, он означает много путешествий в течение долгих лет. С яблочным пирогом удивительная история, потому что папа принес из сарая несколько корзин, и я хотела испечь яблочный пирог, настоящий, по старому

рецепту, к чаю сегодня или завтра вечером.

Она с подозрением посмотрела на Тоби.

— Ты же не *знал*, что я буду делать яблочный пирог к чаю, верно? Или тебе кто-то сказал?

— Смилуйся, мама. И я, кстати, собираюсь проехать много миль за много лет.

Он посмотрел на мать, на ее сморщенные, обвисшие груди, на ее смирение с обстоятельствами и на ее колени, на вечное выражение согласия, заботы и покорности, застывшее на губах, спорящее со страхом и одиночеством, которые время от времени всплывали в блеклых голубых глазах и текли по кругу, словно плененные; и он *знал* так же, как он *знал*, что все знал о своем сновидении про луну, но не мог облечь в слова, что его мать всю жизнь стряпает, стирает, передает сообщения и навещает больных с цветами и домашней выпечкой; и каждое воскресенье она произносит особую молитву — Господи, благослови и освяти эту пищу — или читает Библию и преломляет хлеб, возведя глаза на невидимого Иисуса, который говорит: Возьми. Ешь. Это плоть от плоти моей.

Всю свою жизнь Тоби знал, что его мать, которая никогда не покидала родного городка и ни разу не проводила выходной вдали от дома,

действительно испытала то, что предвидела для него, много путешествий в течение долгих лет, потому что ее туфли изношены, а ступни не помещались даже в мужские тапочки, из-за чего те постоянно рвались. У нее выросли мозоли, одна или две, которые она ночью срезала бритвенным лезвием в ванной, полной пара; и она страдала плоскостопием, впалым сводом, как это еще называют; и варикозным расширением вен, как будто она успела исходить всю Европу, Азию, Южную Африку, Америку и Индию; хотя все это время она гнула спину в огороде с бобами, капустой и семенами моркови, которые никогда не всходили из-за ветра, приносившего разрушительное заклятье.

— Да, так и будет, Тоби, я не сомневаюсь. Я же говорила, что ты увидишь во сне будущее, пусть я и не верю в приметы.

— Не уверен, что я видел свое будущее, мама; скорее, мое прошлое.

Его мать улыбнулась.

— Это одно и то же, Тоби. Одно и то же под разными названиями.

Но как же он ненавидел, когда она расплывалась в этой апостольской улыбке, словно заключила союз с Богом и временем, если только

бог существует; она словно избранное существо, что, возможно, так и было, однако мысль об этом вызывала в нем ярость и вину, ведь тогда разве он не обязан одевать ее в шелк и атлас и подавать ей завтрак в постель, вместо того, чтобы она кормила завтраком его; и каждый раз, когда она ему прислуживала, говорить:

— Позволь лучше *мне*, мама. А ты просто сядь у огня и отдохни.

Разве не так он должен поступать? А если, постарев, она начнет бродить бесцельно по округе, будет странно себя вести и ослепнет? Что он должен сделать? Должен ли он поместить ее в дом, где станет навещать ее раз в неделю, принося апельсины, фиалки или какие-нибудь другие цветы, и брать ее на прогулку, чтобы посмотреть, как накатывают на берег буруны; или угощать ее мороженым в теплую погоду? Или придется запереть ее в доме, нанять сиделку, чтобы та за ней присматривала, и позволить ей шататься повсюду, мешать ему и отнимать время и деньги, ради которых он вкалывал, создавая свое взрослое сокровище? А еще отец, что ему делать с отцом, когда *он* состарится и оглохнет, как дедушка, и надо будет ему постоянно кричать; когда он начнет трястись, пускать слюни, мочиться в штаны

и плохо пахнуть? Как ужасно, подумал Тоби. Ему нужно денежное сокровище, которое поможет выстоять и узнать, где, почему и как.

Откуда вообще такие мысли? Все потому, что мать истолковала его сон как много путешествий в течение многих лет. А можно путешествовать самым мертвым и удушливым способом, просто стоя на месте?

— Тоби, если хочешь, возьми еще гренок.

— Спасибо, не надо.

Я и сам кусок поджаренного хлеба, подумал он, сидя погруженным в свой сон.

24

В течение трех месяцев, до Рождества, Тоби работал над сносом старой гостиницы «Петеркин». Отец помогал, но не с самого начала и не по своему желанию, а потому, что Тоби, придя домой однажды ночью усталым и покрытым известкой, словно кто-то поджидал в темноте, чтобы высыпать на него мешок грязной цельнозерновой муки, и горько сказал матери:

— Посмотри-ка на папу вон там. Что ты видишь?

Мать посмотрела, но не ответила. Боб заснул, уронив детективный роман на пол, его рот приоткрылся, темный и грязно-красный, будто канализация. Нижние зубы сгнили, надо было за ними ухаживать.

— Лень как она есть, — сказал Тоби. — А я весь день вкалываю, пытаясь заработать деньги, чтобы начать бизнес. Почему бы ему не помогать мне хоть иногда? Если я не выручу денег, мне останется лишь продать свою часть дома, и куда вы тогда пойдете?

Да, подумала Эми. Куда мы пойдем?

Она привыкла к угрозам Тоби, однако они все

равно пугали и сбивали с толку, когда она силилась придумать, *куда* пойти, чтобы положить конец тревогам и ссорам и обрести покой. Наверняка в Библии указано какое-нибудь местечко. Наверняка помогут Библия и молитва, ведь мы уже немолоды и не можем так быстро соображать, и я теперь и пару метров пройти не смогу без того, чтобы остановиться и перевести дух.

— Неужели ты и впрямь продашь, Тоби? Хотя твои мать с отцом стареют?

— Конечно, *я* не хочу продавать. Но мне *придется*, если дела пойдут так, как сейчас, и если эта ленивая куча не поможет мне вовремя снести здание.

— Тоби. Твой отец не ленивая куча. Он на пенсии. Это закат его жизни.

Боб Уизерс вдруг проснулся. Он причмокнул, шмыгнул носом и поднял книгу с коврика. «Странное убийство в Хогден-парке».

— Что случилось? — сказал он. — О чем вы спорите, вы вечно о чем-то спорите. И почему прогноз выключен, ты же знаешь, я ненавижу пропускать прогноз погоды.

Вместо того чтобы возразить, мол, ты все равно спал и ничего бы не услышал, Эми Уизерс послушно включила радио, и оно запело: Сол-

нышко утром на холм глядит и цветы на холме пересмешника поцелуем оно наградит [13].

— Пропустил, — обвиняюще сказал Боб Уизерс. — Выключи.

Он любил слушать прогноз погоды. Метеоролога он презирал и высмеивал за то, что тот говорил как будто с шариком во рту, а кроме того, Боб и сам умел предсказывать, будет ли завтра ясно или дождливо; но он чувствовал, что в нынешние времена необходимо прогноз *услышать* от кого-то авторитетного, чтобы все задуманное осуществилось. После сводки погоды Боб чувствовал себя уверенно даже в такие небезопасные и жуткие времена, которые он называл, в противоположность старому времени, нынешними или теперешними временами.

— Ну, — сказал он, — и кто теперь скажет, будет ли завтра буря или ураган и расколется ли мир на миллион кусочков? Мне нравится знать свое будущее. Я не то чтобы суеверен, но люблю знать свое будущее, для надежности.

— Я продаю свою долю, папа. Если только ты не поможешь мне с «Петеркин». Ты же способен уделить хотя бы несколько дней?

---

[13] Примечания: 13

«Холм пересмешника» (*Mockin' Bird Hill)* — песня, наиболее популярное исполнение которой принадлежит Патти Пейдж (1951 г.).

Эми переводила взгляд с одного на другого, поддерживая обоих, но не в силах решить, что сказать. Она хранила на лице спокойное, полное надежды выражение, однако страх проникал в ее глаза. Она устала. Блаженны миротворцы, подумала она.

— Что скажешь, мать?

— Да, что скажешь, мама?

Эми улыбнулась, натянув знакомую всем лучезарную маску.

— Я скажу, что самое время для чашки чая, настоящего чая и кокосовых пирожных, которые я приготовила сегодня днем.

Какой еще чай? Какие пирожные? Выбирай, сварливо сказал бы ей Боб, поднимаясь из кресла. Но он любил кокосовые пирожные.

Так Эми уладила спор, и на следующее утро Боб поехал с Тоби на грузовике в гостиницу «Петеркин».

Боб ничего не знал о сносе зданий, и пришлось его учить. Делай вот так, папа, говорил Тоби. А теперь вот так. И Боб покорно подчинялся. Забавно, подумал он, я не заметил, что Тоби взрослый и много чего умеет. Я всегда думал… о, я не знаю, что я всегда думал. И он увидел маленького болезненного мальчика, который, зажмурив левый

глаз и склонив голову к левому плечу, кричал: Папа, папа, помоги мне.

И стоя там, на лесах, высоко над тротуаром и прохожими, где Тоби на одном конце доски что-то выдалбливал и выворачивал, а он сам на другом конце тоже выдалбливал, но молотком похуже, потому что Тоби достался лучший, ведь это, в конце концов, работа Тоби, и Тоби был профессионалом, на Боба порой накатывали усталость и одышка, особенно когда он поднимал руки и у него кружилась голова, особенно когда он смотрел вниз на прохожих; но он не мог сказать Тоби, что чувствует. А он чувствовал себя одиноким и так близко к небу не тем благодатным гордым одиночеством, которым он наполнялся, ведя поезд ночью по равнине, а неумолимой и суровой пустотой, как будто он отвергнут землей и небом и должен теперь остаться навсегда в пропасти между ними, усталый и напуганный. А с улицы, если люди из своего человеческого любопытства посмотрели бы вверх, остановившись и вытянув шеи, то увидели бы двух покрытых пылью и неряшливо одетых мужчин, одного молодого, другого старого, стоящих на концах заляпанной краской доски, которые изредка оборачиваются, чтобы взглянуть друг на друга, но почти не раз-

говаривают.

Тоби нравилось заниматься сносом. Он расчленит здание и заставит платить. Он вскрыл полы и с восторгом извлек то, что лежало внизу: старые газеты, шестипенсовики и расчески; чайные ложки и сломанные наручные часы; выцветший портрет улыбающейся женщины. Он исследовал облицовку стен, чтобы найти сокровища. Он думал: Я создам здесь хаос и из аккуратных штабелей дерева, стекол и известняковых блоков сотворю новое, собственное богатство, которое станет мне подругой и любовницей на всю оставшуюся жизнь. Так-то. Ржавые гвозди, изрешеченные сверлом доски четыре на два дюйма, балки из каури и листы кровельного железа — гораздо больше, чем любая Фэй Чоклин.

Снос закончили за две недели до Рождества, потратив на это три месяца, и место, где здание пустило корни, напоминало лунку гигантского деревянно-каменного зуба, коренного зуба-первопроходца; темное кровавое пятно вскоре должно было исцелиться и зарасти ярко-зеленой травой. Возможно. Или взамен появится вставной зуб? Так и вышло, уже в начале следующего года; вырос магазин инструментов, как реклама собственного разрушения, с топорами, пилами,

ножницами и косилками, расставленными в витринах. А по соседству родился гастроном, чистый, белый и блестящий, с конфетами в бутылках и двумя видами мороженого, простым и шоколадным; и музыкальным автоматом, который за соответствующую плату соглашался исполнить популярные мелодии. И люди, жившие в Уаймару много лет, говорили:

— *Надо же, как город развивается!*

25

Радио первым вступило в бой, угрожая и напоминая. За ним последовали газеты-провокаторы. Магазины повторяли мрачные призывы и предупреждения: До Рождества осталось всего ничего. А *вы* отправили открытки и посылки? Купили подарки и продукты?

Городские магазины превратились в богадельни для белобородых стариков в халатах, резиновых сапогах и с фальшивыми или нефальшивыми красными носами. Мир был окутан ватой, оплетен нежными соснами и угрюмыми листьями остролиста; с неба валились звезды, и за ними нестройными рядами следовали многочисленные волхвы; в лучших витринах появились ясли, согретые центральным отоплением, и все *ждали рождения*.

— Рождество, — восторженно выдохнула Эми Уизерс. — Рождество.

Во-первых, открытки. Боб купил их в «Вулвортс», в киоске, где все по три пенса, вместе с конвертами, а Эми составила список адресов.

— Конечно, отправим одну Томсонам, — сказала она.

— Но в прошлом году они нам ничего не прислали.

— А если в этом году пришлют, а мы им не ответим?

— Тогда мы сможем отправить им новогоднюю открытку. Или календарь.

— Они поймут, что мы не купили им открытку заранее.

— Что ж, отправь, — сказал Боб. — Всего-то три пенса. У меня денег куры не клюют. Мы можем позволить себе все что угодно. А откуда взялись люди, которым мы шлем открытки? Кто такой этот Д. Тейлор?

— Это моя старинная подруга, папа. Она ходила со мной в школу. Мы всегда посылаем друг другу открытки на Рождество. И ни разу не нарушили традицию за все эти годы.

— Забавно, я не могу ее вспомнить, — сказал Боб.

— Ты с ней не знаком, папа. У меня есть знакомые, которых ты не знаешь, а у тебя есть свои знакомые.

— Но я с ними не общаюсь, — сказал Боб печально. — Я не общаюсь ни с кем.

Итак, были отправлены открытки со словами «благослови вас Бог», «с любовью» и «с празд-

ником», а также со стихами, не с теми, что без рифмы, на современный лад, а с настоящими.

Далее посылки. Для Дафны (бедняжка, как же она там, говорили все) розовые панталоны на ворсистой подкладке с резинками понизу; подходящая розовая нижняя юбка из «Вулвортс»; и коробка конфет. Приложили записку, в которой говорилось: Дорогая Дафна, счастливого Рождества и процветания в Новом году, и да благословит тебя Бог. Доктор считает, что ты недостаточно хорошо себя чувствуешь, но мы надеемся, что в следующее Рождество ты будешь с нами и разделишь благословения Господа. С котом Федором и кошкой Матильдой все хорошо. Мне больше нечего добавить, кроме как пожелать тебе веры. Твоя любящая мать в надежде на Христа, Эми Уизерс.

Затем для Цыпки (мама, *не забывай*, что теперь я Тереза, я взрослая и замужем); пришлось поволноваться, покупая подарки детям. Игрушки для посылки на север. Пластиковая рыбка малышу; магнитики двум маленьким мальчикам. Боб Уизерс весь вечер играл с магнитом, собирая булавки, разбросанные по кухонному столу и приговаривая: Ну и дела, ну и дела; и еще: В нашем детстве такого не было. Также он играл с

перчаточными марионетками, с полицейским, который в правой руке держал дубинку, и жалким преступником с тупым лицом и в полосатой робе; безжалостно бил преступника дубинкой, скручивал куклы в странные позы, танцевал ими на кухонном столе, пока Эми не рассмеялась.

— Ох, отец, ну ты даешь, — сказала она. — Какой же ты ребенок. Жду не дождусь, когда Цыпка, Тим и детишки переедут жить на юг, и мы их увидим; вокруг снова будет детство.

— Не хочу я детство, — сказал Боб, колотя дубинкой преступника, который плакал слезами из красных чернил, — я не хочу снова детство.

Тоби, в полудреме лежавший на диване, сказал:

— Значит, ко мне нагрянет стая визжащих детей и будет бегать вокруг моего снаряжения и вещей?

Тоби, покончив с гостиницей «Петеркин», подал заявку и получил лицензию на торговлю подержанными товарами. Он покупал и продавал бутылки, тряпки и металлолом, поломанные кровати, печи, все старое и подержанное. Иногда он ходил на городскую свалку, не на старую свалку с кольцом тои-тои, на месте которой построили новый дом, а в другое место на окраине

города, недалеко от устья реки. Тоби подъезжал на грузовичке к берегу и сидел за рулем, наблюдая, как море сливается с рекой, как форельно-коричневая вода растекается, словно подол юбки, по гладким камням цвета слоновой кости; и нерешительное море, приободренное приливом, говорит тише-тише-тише самому себе; и ползет вверх, сначала маленькими лужицами, полными даров из ракушек и водорослей, затем длинной цепью бело-зеленого танца, приближаясь к реке, втягивая воздух и вздыхая по теперь уже коричнево-желтой нижней юбке из пены и растраченным водорослям и медлительному, удушливому спокойствию бурого русла. Тише-тише. Тсс.

Вот бы море остановилось на секунду, или на минуту, или на пять минут, чтобы дать человеку время на слово, или вопль, или песню, или проклятие.

И когда Тоби сидел в грузовичке, а в его ухе гудело море, он говорил раздраженно:

— Помолчи. Молчи, пока я буду думать.

— *О чем ты будешь думать, Тоби?*

— Обо всем на свете.

— *О чем именно, Тоби?*

— Ой, не придирайся к деталям. О чем-нибудь.

— *О чем ты будешь думать, Тоби? О чем ты будешь думать?*

— Ну и плескайся дальше, и будь проклято. Но тогда говори *вместо меня.*

26

П*устой дом никогда не заполнить.*

Рождественские открытки устилают каминную полку; по потолку вьются шестипенсовые гирлянды, похожие на огромные вульгарные леденцы, красные, золотые и черничные; колокольчики-гармошки, которые вздыхают, когда их обдувает ветерок с улицы; ленточки и Санта-Клаусы из тонкой бумаги, подвешенные за шеи к блестящей нитке, делающей петлю между стенами кухни; умирающая сосновая ветка устало опирается на книжный шкаф, ряды календарей, отвернувшихся стыдливо лицами к стене в ожидании первого января, суля тогда предстать во всем великолепии роз и лилий, морей, закатов и затравленных оленей; горькие веточки остролиста яростно вгрызаются в выцветшие обои.

И пустой дом никогда не заполнить.

Рождество, три часа дня. Тоби и Боб Уизерс спят, один на диване, другой в кресле. Эми только что закончила мыть посуду и убрала остатки жареного ягненка и темную землю недоеденного сливового пудинга; открывая дверцу шкафчика для продуктов, висящего под грушевым дере-

вом, она бросила несколько кусочков мяса коту Федору и кошке Матильде. Кис-кис. Кис-кис. Но Федор и Матильда слишком разомлели, чтобы развернуть свои мирно дышащие черный и серый клубки. Все вокруг дремлет, почему бы и нам не вздремнуть, говорят Федор и Матильда. Солнце нежной бело-серой лапой прикрывает свою мордочку, а немногочисленные облачные котята зевают и снова сворачиваются калачиком. Кис-кис.

И по радио «О малый город Вифлеем, приходите все верующие» [14], поет хор из специально подобранных женских голосов.

Эми подходит к окну и смотрит на дорожку. Кажется, я что-то слышала, машину. Угощу их песочным печеньем или кусочком рождественского пирога к послеобеденному чаю. Но я надеюсь, что это не гости. Я просто накрою стол скатертью, чтобы мухи не сидели на торте, и пойду прилягу в спальне.

Она снимает тапочки, новые, клетчатые, напоминающие лодки, и ложится на кровать.

Се, дева во чреве приимет
и родит Сына,

---

[14] Примечания: 14

«О малый город Вифлеем» (*O little town of Bethlehem)* — популярная рождественская песня, написанная в 1865 году.

и нарекут имя ему Еммануил,

что значит: с нами Бог,

и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь,

претерпевший же до конца спасется.

Много других текстов повторяла Эми про себя, глядя на усеянный мухами потолок и на туалетный столик в другом конце комнаты, заваленный старыми счетами и фотографиями, и носовые платки Боба, грязные платки курильщика; и на склянку с сердечными таблетками Эми, и на печеночные таблетки Боба; и на большой зеленый гребень, похожий на грабли, в зубах у которого застрял комок седых волос, потому что гребень никогда не чистили; а затем на нижние зубы Эми, которые она никогда не носила, потому что они не были впору. И Эми, положив голову на грязную наволочку — чистую она отдала Бобу, на его сторону кровати, — видит, что плачет, и утыкается лицом в подушку, вдыхая пыль и застывший запах лет, и она забывает о Рождестве и о пироге, на который все глазели целый день, хотя он испечен еще две недели назад, об отключении электроэнергии и о своем страхе нищеты из-за того, что она купит карамельных вишен, миндаля, орехов и лимонной цедры; она

забывает канун Рождества с гимнами по радио и Боба, сидящего над своей детективной книжкой и бубнящего: Когда в эфире будет что-нибудь приличное вместо этого адского пения; и как Тоби, ее единственный сын, уходит из дома, чтобы прогуляться в одиночестве, посмотреть парад духовых оркестров и получить новый запас таблеток; и как семья просыпается рождественским утром, притворно удивляясь подаркам.

— Носки, носки, — сказал Боб. — Откуда Санта узнал, что мне нужны носки?

Он сам их и купил, конечно, как и другие подарки. Все трое заранее знали, что сюрпризов не будет, и утро было действительно старым и потрепанным, словно кошелек, выкопанный в поисках чуда.

За исключением Христа, конечно, виновато подумала Эми. Разве люди, блуждающие во тьме, не узрели великий свет?

И вот она лежит на своей кровати, плачет и вспоминает мелочь, которую никак не выбросить из головы. Что-то глупое и незначительное, случившееся давным-давно. Как она работала у судьи и его жены, убирая их дом и прислуживая за столом. Одета в черное платье с белыми манжетами. И миссис Тогбетти однажды утром

сказала:

— Эми-Эми, ты умеешь ощипывать курицу? Мистер Тогбетти устраивает вечеринку, и я хочу, чтобы ты ощипала курицу.

Эми вышла на задний двор, чтобы ощипать курицу, и перья были повсюду, пальцы у нее покраснели, перо застряло в горле, а птица наконец осталась голой и бледно-желтой в вечном ознобе.

А потом миссис Тогбетти сказала:

— Эми-Эми, ты вымоешь собаку?

Эми накинула на платье большой фартук, снова вышла на задний двор и выкупала нахального маленького спаниеля. И в тот вечер мистер Тогбетти устроил вечеринку. Он носил парик отчасти потому, что был лысым, отчасти потому, что был судьей, а внутрь парика он затолкал кусок ваты, для тепла.

— Эми-Эми, — сказал он, — у меня парик сидит прямо?

Эми сказала, что парик сидит прямо.

И у него была вечеринка, а у Эми был свободный вечер.

— Можешь идти куда хочешь, — сказали они.

Жила она слишком далеко, поэтому ходила взад и вперед по улицам со шляпной булавкой в

кармане на случай, если какой-нибудь мужчина вздумает с ней заигрывать; посидела немного у речки, которая текла через город, и посмотрела на опавшие листья тополя и подумала, как грустно. Как грустно и одиноко.

И она сидела там, пока не наступила темнота и туман не стал похож на дым от тлеющих листьев, и она взглянула вниз на тонкое мерцание воды и вверх на вскопанную громаду неба и подумала, случится что-то чудесное. Я чувствую. Эта ночь особенная.

Она пошла обратно к Тогбетти, к воротам и вверх по дорожке мимо окна, за которым мистер Тогбетти развлекал своих друзей. Она слышала разговоры и смех. Шторы были задернуты неплотно, и она заглянула в просвет, дрожа от предвкушения. Как-никак *настоящая* вечеринка.

Они играли в карты. Эми видела их руки и карты, но лучше всего — большой стол в гостиной с красным бархатным покрытием, толстым, как ковер, расстеленный для королевы, и роскошным, как темная роза.

Она больше не могла смотреть вечеринку. Смех, разговоры и люди скрывались за ставнями и шторами, а все, что ей досталось, — мягкая

малиновая ткань и белые руки, порхающие над ней с картами.

В ту ночь она плакала от разочарования и одиночества, пока не уснула.

И теперь Эми, лежа на своей кровати рождественским днем, снова и снова видит красную скатерть, положенную Эми долю веселья; и скатерть становится больше, и падает на ее кровать, и укрывает, словно одеяло, и она спит.

И пустой дом никогда не заполнить.

27
Цыпка

И вот Дафна в мертвой комнате взяла маленькую каменную чашу солнца, льющегося из высокого окна; и разделила золотую массу на колосья пшеницы, и она кормит белых кур, снующих туда-сюда по траве, и кормит самых маленьких цыплят, хотя они еще не знают травы, но шепчутся под ящиком с теплой пернатой мамой-наседкой.

И цып-цып-цып кричит Дафна, разбрасывая пшеницу, и кудах-кудах-кудах говорят куры, и хлопают перьями в пыльных углах, а еще набирают воду, макают клювы в ржавую кастрюлю с прозрачной родниковой водой, со щелчком закрывая клювы, словно люди, которые впервые пробуют вставные зубы и при этом стараются ради приличия не открывать рот широко; затем поднимают клювы к небу, чтобы родниковая вода стекала вниз чистой струйкой.

— Какой у вас прекрасный вкус, — поет Дафна, она сегодня смеется. Но и плачет тоже, о самом маленьком цыпленке, который лежит

под большим темным ящиком, ничего не видя, пока наседка с блеклым гребешком на цыпочках выходит на солнышко, чтобы подремать впервые за свою полную забот жизнь, в месте бурого цвета, с белым фартуком савана до самой шеи и теплыми оладьями или кексом из навоза во рту.

28

Тоби нашел дневник под подушкой в северной гостиной. Он ночевал у Цыпки (теперь Терезы) и Тимоти и присматривал за детьми, пока их родители ушли в гости к друзьям.

— Это друзья по бизнесу, Тоби, а к друзьям по бизнесу надо держаться поближе. Ты не против присмотреть за детьми, Тоби? Они спят как убитые. К ним и подходить не надо.

Итак, Тоби сел на диван в гостиной их дома. И там он нашел дневник, и стал читать поначалу с чувством вины, а потом чувствуя смерть и стыд. Он прочел:

15 января

Впервые за много лет, а точнее, за восемь лет, поскольку восемь лет назад я вышла замуж, я решила вести дневник. Я намерена здесь описать все свои чувства и каждое значительное событие. На самом деле я буду очень откровенна, как француз Руссо, и выложу все как на духу. Или почти все. Также я намерена сделать, если будет время, краткий отчет о своей жизни в эти восемь лет брака. Возможно, я упомяну свое детство и членов семьи, моего брата Тоби, продавца подер-

жанных товаров в Уаймару, мою сестру Дафну, которая лежит в психиатрической лечебнице, другую сестру Фрэнси, которая погибла в огне, когда я была совсем маленькой. И своих родителей. Естественно, я буду говорить о Тимоти и детях. Я полна решимости вести дневник регулярно, и если я пропущу несколько дней, это не значит, что я позабыла записывать события и эмоции, просто я не нашла времени; ведь я домохозяйка.

С чего же начать? Не знаю. Вернусь к дневнику, когда дети лягут спать.

Ночь

Тимоти (я буду звать его Тимоти, потому что так звучит изысканно и по-книжному) дразнит меня из-за дневника и угрожает его прочесть, однако мой милый Тимоти так честен, что я могу оставить дневник на самом видном месте, и он никогда сюда не заглянет. Нет, думаю, буду все-таки звать мужа Тимом — все прочее звучит отчужденно, как про незнакомца. Он подарил мне паровой утюг. Принес домой сегодня вечером, сделал мне сюрприз. Старый я отдам Дафне, чтобы, когда она выздоровеет, у нее была какая-то материальная основа для новой жизни.

Теперь действительно пора начать вести дневник.

В августе или октябре мы поедем на юг, в Уаймару, будем там жить. Я взволнована и даже напугана предстоящей поездкой туда, где родилась и выросла. Это как вернуться на место преступления, но будет весна и распустятся все цветы и нарциссы. Очень хочу их увидеть. Я помню стихотворение, которое мы учили в школе, о нарциссах, порхающих

у озерца, среди дерев.

Хочется привести какое-то сравнение, как в романах, чтобы описать прелесть цветов в моем прежнем доме. На ум приходит лишь то, что они побелели, словно от удушья.

Я все еще толком не начала дневник. Мне нравится мое имя, Тереза, и если дома все станут звать меня Цыпкой, я не буду откликаться. Мне дали такое прозвище, потому что, по словам родных, я была похожа на маленького смуглого цыпленка, который вечно бежал, пытаясь догнать остальных, с опущенной головой, и волосы падали мне на лицо, поэтому казалось, что я чуть ли не клюю зерна с земли. У моих сестер интересные имена. Была Фрэнси, то есть Фрэнсис, и хотя она носила брюки, и мой отец на нее за это сердился, я думала, что она доводится родственницей святому Франциску, который, по моему

убеждению, держал в кармане животных и порой вынимал их, чтобы лизнуть, как Фрэнси лизала лакричный или кислый леденец, из чистой любви. А еще есть Дафна, которая, казалось мне, пахнет цветочным кустом, что-то среднее между сиренью и кошачьей мятой. И Тоби, мой брат, он не отличался особым запахом, насколько я помню. Он носил подтяжки. Дети сейчас носят ремни, мужчины тоже. Я бы смеялась без остановки, если бы Тим вдруг обзавелся подтяжками. Он носит поясную сумку. Это мой подарок ему на Рождество, а он подарил мне комплект нейлонового нижнего белья, такого дышащего, синего цвета, с широкими кружевами по краям. Я люблю Рождество, когда дети просыпаются до рассвета и забираются в постель между Тимом и мной, показывают нам свои подарки и, прижавшись друг к другу, снова засыпают. Какие у них горячие тельца, и яркие глазки, и чистые голоса, ведь они сияют новизной. Кто гасит солнце? спрашивает меня Питер, как будто я должна это знать. Темнота — пугающий ответ.

16 января

Из стиральной машины вытекла на пол вода. А у малышки Шэрон болят зубы. Она проплакала всю ночь, и ее маленькая правая щечка налилась

краснотой, как вишня. Почему дети не рождаются с зубами?

20 января

Скоро кончится первый месяц нового года. Я чувствую, что ничего не сделала, хотя не знаю, что я должна была сделать, просто у меня ощущение, будто я никуда не двигаюсь и теряю время. В этом году мне исполнится двадцать восемь, около тридцати, а потом будет сорок, а потом наступят пятьдесят и шестьдесят, так что очень скоро я превращусь в старуху и стану получать пенсию. Я гоню от себя такие мысли. Мою старушку-мать одолевают болезни, и, говорят, она скоро умрет — сердце. Я состарюсь, как она, и буду страдать высоким давлением, варикозом вен и отеками, и мне придется есть пресное масло и помнить, что нельзя солить овощи, салат и любую другую еду, потому что доктора запрещают. Или я заболею диабетом, как моя бабушка, и не смогу есть сахар, и мне отнимут ноги, чтобы держать их за дверью в темноте.

Хватит болезненных рассуждений. Просто выходит, что я делаю одно и то же каждый день — встаю, одеваюсь, готовлю завтрак, одеваю детей, Питера и Марка, или понукаю их, пока они не оденутся сами, отправляю их играть, даю

младшей бутылочку и укладываю спать, выпиваю тихую чашку чая — это значит выпить чаю в тишине — вместе с Тимом, прежде чем он уйдет на работу, мою посуду, прохожусь пылесосом по коврам, включаю стиральную машину, стирка, полоскание, отжим, развешиваю белье, сажусь за утренний чай с газетой, читать и злорадствовать.

И так далее и тому подобное. Во второй половине дня у меня есть время на чтение. Я читаю «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте. Это история женщины, которая замужем за пьяницей, история ее страданий и унижений в убогом мире — так написано на обложке. По-моему, книга захватывающая, я действительно не могу от нее оторваться. Что будет делать Хантингдон дальше, спрашиваю я себя, дрожа вместе с его супругой Хелен от страха и тревоги. Какой же он жестокий грубиян, чтобы так обращаться с влюбленной женщиной. Сцена, где Хантингдон назначает встречу в зарослях своей любовнице, а его жена совершает в темноте уединенную прогулку, и Хантингдон ошибочно принимает ее за женщину, с которой обещал встретиться, и поэтому говорит с нею страстно и ласково, пока не обнаруживает свою ошибку и не восклицает с

отвращением и страхом:

— Жена моя Хелен!

Эта сцена вызывает у меня отвращение. Я внимательно перечитала ее трижды.

Иногда во второй половине дня приходят гости, например, Болдуины, Бенни с Тедом, или Смарты, Терри и Джози. Бенни и Джози часто звонят, и мы сидим и беседуем о детях, мужьях и домашних делах за чашкой чая с печеньем. Мне стыдно, что я не могу похвастать собственной стряпней и домашними заготовками, приходится сконфуженно вынимать печенье, шоколад, вафли и пирожные из упаковки; и хотя Бенни и Джози слишком вежливы, чтобы делать замечания, я чувствую их осуждение, ведь у них всегда наготове свежеиспеченные меренги, или арахисовые пирожные, или розовые зефирные сладости. Отец Бенни — судья Верховного суда, а ее муж — высокопоставленный чиновник. У Смартов новый дом в одной из бухт — говорят, это район будущего. Они знают Бессиков, доктора Герберта и его жену Элисон, и даже обещали нас представить. Доктор Бессик замечательный гинеколог, только что вернулся с учебы за границей; его жена публиковала статью в светских новостях об их жизни на континенте и в Штатах. Она, говорят,

немного сварливая, зато прекрасно одевается и гостеприимная хозяйка. И Болдуины, и Смарты, кстати, состоят в местном драмкружке. Репетиции у нас по вторникам.

Что еще мне добавить к описанию своего дня? Вечером после чая всегда купание детей и сказка на ночь, потому что мы с Тимом верим, что детям надо читать сказки перед сном. Тим купил книгу по детской психологии, и мы ее изучили. Некоторые приемы, кажется, не действуют на Марка, настолько он не похож на других и темпераментен. Тим читает сказку, пока я даю бутылочку младшей. Детские книги сейчас не те, что в моем детстве. Я с удовольствием прочла «Джемайму Паддл-дак» Беатрикс Поттер, раньше эта книга мне не попадалась, о том, как хитрый джентльмен Лис держал газету в кармане фрака и набил доверху перьями свой сарай, чтобы Джемайма Паддл-дак откладывала там яйца. Каким же хитрецом оказался Лис, обманувший доверчивую бедняжку Джемайму Паддл-дак. Интригами и едва не совершившимся убийством эта история будто из настоящей жизни.

Кстати, Тим купил электрический миксер, чтобы я смогла приготовить шоколадно-ореховый бисквит в выходные, когда наконец познакомим-

ся с Бессиками. Странно встречаться с доктором за пределами больницы, особенно с гинекологом, хотя мне достанет выдержки, и я не зальюсь краской, даже если вспомню, что он должен знать о женских внутренностях. Десять лет назад я бы просто сбежала. Подумать только.

Сейчас поздно, и я устала. Тим только что понес бутылки из-под молока к воротам. Погода такая жаркая и влажная, я сама не знаю, как выдерживаю. Комаров в этом году тьма — говорят, никогда столько не было. Я скоро пойду спать. Бенни пользуется ночным кремом «Вистерия», мол, он лучше «Глории Хэйвэн». Я пробовала «Глорию Хэйвэн» и тоже чувствовала, что в нем чего-то не хватает. Сегодня я купила в аптеке баночку «Вистерии», что, без сомнения, расточительно. Впрочем, Тим не только не возражает, но даже поощряет меня и любит, когда я интересуюсь косметикой. В самом деле, идеальный супруг. Где еще я найду мужчину более заботливого и любящего? А ведь много лет назад он был одним из оборванцев, которые вертелись вокруг моей сестры Фрэнси в Уаймару, а я показывала ему язык. Его отец заседал в городском совете, и хотя Тим поступил в медицинский колледж, так его и не закончил, — у Тима обнаружились способности

в другом деле. Теперь он занимается продажами, не просто коммивояжер, а ответственный исполнитель с высокой степенью ответственности. Его друг Говард Уэстон (у Уэстонов овцеводческая ферма недалеко от Уаймару) помог нам купить новый дом. Когда я увидела фотографии и планы, мне показалось странным, что он построен на месте старой свалки, где мы играли в детстве и где сгорела Фрэнси. Эта мысль наводила на меня ужас. Жить там, где мы сидели среди тои-тои, щекоча друг друга золотистыми метелками и нося их в волосах вместо перьев; где мы искали и находили то, что называли сокровищами, старые шины и сапоги, в которых по ночам расхаживали мертвецы и великаны; и обломки машин, и книги, и всякую прочую дрянь под солнцем. И как долго тянулось время с утра до вечера, когда день вышагивал по небу разомлевшей курицей. Да, когда я поселюсь в новом доме, мне будет страшно и странно; и все-таки я чувствую, что место мне подходит; оно сулит счастье и сокровища в нашей будущей жизни, а затем отчаяние из-за Фрэнси, я в тот день носила голубую ленту в волосах, и она постоянно развязывалась, и некому было ее снова завязать; это словно какой-то пробел в моей жизни. Что за чушь я несу.

Пора заканчивать дневник на сегодня. Тим в ванной. Он всегда наливает слишком горячую воду, поэтому вся комната наполняется паром, а сам он похоже на вареного рака; и он еще ухитряется в ванне что-то *читать*. Дорогой Тим! Подумать только, я замужем восемь лет. А теперь пора спать, а перед сном закончить еще одну главу «Незнакомки из Уайлдфелл-Холла».

21 января

Я взволнована предстоящей встречей с Бессиками. И напугана. Это мой первый *практический* опыт общения с действительно влиятельными людьми. Я попросила их прийти вечером, подумав, что будет удобнее и спокойнее, когда дети спят, хоть и не получится показать вьющиеся волосы Шэрон, ямочки у нее на щеках, очаровательную улыбку и розовое нейлоновое платье, вышитое в Швейцарии. Ничего страшного. Чтобы заполнить возможную паузу, мы договорились включить Пятую симфонию Бетховена на радиограммофоне. Я совершенно уверена, потому что я о таком читала, крайне важно произвести впечатление, еще я знаю различные стратегии беседы и смогу сделать какое-то умное замечание по этому поводу. Я считаю, Бессики музыкальны, и Пятая симфония — беспроигрышный вариант.

Можно упомянуть судьбу, стучащую в дверь, и тому подобное. Я после обеда сделаю уборку в гостиной к приходу гостей, а утром приготовлю бисквит. Наверное, кофейный бисквит лучше шоколадного, так как кофе изысканнее. Надену простое и стильное платье из тафты, с новыми цыганскими серьгами, а прическу сделаю обычную, но с пробором повыше. Должно получиться, если вымыть волосы накануне, в пятницу вечером, или, может быть, на день раньше, в четверг, и тогда все будет в порядке.

Простите за то, что я все это пишу, пытаюсь отвлечься. Говорят, Герберт Бессик — исключительный человек.

22 января

Жара еще стоит. Дети бегают голышом. Сегодня я получила письмо от Дафны, первое за долгое время. В каком странном мире она живет! В письме ни малейшего смысла, и просто чудо, что доктор вообще позволил его отправить, — все о Рождестве, о четвертинке луны и о мыши, грызущей саван солнца. Боюсь, я никогда не увижу, как она поправится и заживет нормальной жизнью. Бедная Дафна. И она вернула письмо от меня, в конце письма приписав: Помогите, помогите, помогите. Как будто меня нужно спасать от

страшной гибели, как будто судьба (думаю о Пятой симфонии) постучала в мою дверь. Бедная Дафна. Естественно, она имеет в виду себя, когда взывает, помогите, помогите, помогите.

23 января

Осталось всего три дня. Я волнуюсь, как школьница перед первой в жизни вечеринкой. Помню свою первую вечеринку, в шестом классе. Должны были прийти старшеклассники, а у меня не нашлось ничего приличного, в то время как другие девочки разоделись в красивейшие платья, вечерние или с пышными юбками, и атласные туфельки, и каждая держала сумочку, усыпанную блестящим бисером. Собрали нас, помню, в спортзале, и я просидела весь вечер в углу, стыдясь своего простого ситцевого платья и боясь хоть с кем-то заговорить. И когда объявили танцы, мое сердце заколотилось, и я испугалась, что оно задушит меня, как в романе, и я упаду в обморок. Но разве можно падать в обморок в ситцевом платье и кроссовках? Я ждала, пригласит ли меня кто-нибудь на танец. Мальчик Тод подошел ко мне и спросил, занята ли я для следующего танца, фокстрота, и я выпалила: Нет, я буду танцевать с тобой, — вцепилась в него и вытолкнула на танцпол, и мы танцевали; я наступала ему на но-

ги, все время повторяя: Прости, прости. И только потом узнала, что женщина никогда не извиняется — всегда виноват мужчина. Я не знала, о чем говорить во время танца, я изо всех сил старалась двигаться в такт и показать партнеру, как хорошо я танцую, в надежде, что он пригласит меня на ужин. Он был капитаном команды по крикету.

Он не пригласил меня на ужин. Другие мальчики тоже. Я чуть не расплакалась, понимая, что всему виной моя нелепая одежда и отсутствие денег на уроки танцев. И я пошла ужинать с остальными девочками, не получившими приглашений, и мы сидели вместе за длинным столом, в то время как пары за столиками на двоих болтали и над чем-то смеялись, а мы, девочки, сидели злые и молчаливые, или напустив на себя надменный вид, будто нам все равно, — хотя нам было не все равно.

Однако вернемся в настоящее. Я с волнением жду субботы. Мне нравится думать, что я приобрела социальное положение, достаточное для того, чтобы Бессики захотели познакомиться с Тимом и со мной. Я закончила «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла» и начала «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Я читала ее много лет назад, когда была школьницей и искала романтики.

Теперь я подхожу к чтению более зрело и уравновешенно.

Питер отпускает причудливые замечания. Сегодня утром он сказал: Мама, что за мир в стиральной машине? А вчера вечером он спрашивал о луне. Там что-то есть, сказал он. Там холмы и что-то движется. Он в тройке лучших учеников в школе и очень хочет, чтобы каникулы скорее закончились. А я вижу себя матерью стипендиата Родса.

Но сейчас ночь, и я очень устала. Такое чувство, что дети весь день ссорились из-за игрушечных уточек, ружей и машинок; меня утомили их крики. А у Шэрон диарея, так что приходится стирать миллион пеленок. Благодарение небесам за стиральную машину. Бедная Шэрон. Я смеюсь сейчас, вспоминая маленького Марка, и как я его поначалу боялась, такого крошечного и вертлявого, и как тщательно я чистила ему уши и нос, а тельце натирала оливковым маслом и подкрадывалась к нему ночью, чтобы посмотреть, не перестал ли он дышать, не задохнулся ли, уткнувшись лицом в подушку, как дети из жутких газетных заметок. Дорогой Марк. Как было бы ужасно, если бы кто-то из них родился слепым, или уродливым, или идиотом, который

только мотает головой, как гусеница, а говорить так и не сможет.

Пора заканчивать эту запись. Как я уже сказала, я без сил.

Только что вспомнила, что Герберт Бессик недолго жил во Франции и, по слухам, хорошо говорит по-французски. Мы учили французский в школе, немного, нам преподавала француженка. Вот бы я смогла перекинуться с ним парой фраз на французском во время вечеринки.

Поправка; не вечеринка, а просто тихий светский вечер.

24 января

Ночью я видела странный сон: мне приснилось, что я сижу посреди цирковой арены, нянчу маленькую черную пантеру, которая постоянно меня царапает и говорит детским голосом с иностранным акцентом: Я тебе глаза выцарапаю. Я тебе глаза выцарапаю.

Вверху танцевали прожекторы цирка, и я знала, что от меня ждут выступления, но не могла вспомнить, какого именно. Зрители аплодировали, топали и свистели, ожидая, когда я начну номер. Вдруг я швырнула пантеру через всю арену и заплакала, и мне подумалось, это всего лишь сон, не о чем плакать, это всего лишь сон. Потом

свет в цирке померк, и вот я в Париже, прогуливаюсь вдоль Сены. Была полночь. Я услышала, как часы пробили двенадцать, и продолжала идти, следя за своей тенью на поверхности воды, чтобы ее не потерять. Внезапно я почувствовала усталость и поняла, что мне пора спать, поэтому я сняла черную шубу — подумав, как странно, я и не заметила, что на мне черная шуба, — расстелила ее на земле и заснула. Когда очнулась, моя шуба исчезла, моя тень исчезла, а я стояла и смотрела на реку, которая кружилась в водовороте тьмы.

Разве не странный сон? Я спросила Тима, видел ли он сны прошлой ночью, и он сказал, что нет, только в полудреме привиделось, как он взбирался на гору в поисках орхидеи, а нашел горсть снега. Сны — любопытная штука. Говорят, сны значат гораздо больше, чем мы думаем.

Между прочим, начиная вести дневник, я обещала писать и о своем внутреннем мире. Интересно, говорила ли я что-нибудь о своем внутреннем мире? А вдруг у меня нет *внутреннего мира*? Я сегодня в отвратительном настроении. Получила письмо от матери из Уаймару. В письмах она повторяет одно и то же; что все хорошо, что все счастливы; это действует как заклятие

отрицания, из-за которого волей-неволей понимаешь, что все не так уж хорошо и все несчастны. Иногда я задаюсь вопросом, стоит ли нам переезжать на юг. Я не знаю. Правда не знаю.

Еще сегодня и завтра, а потом наступит день небольшого светского вечера. Готовить ли все-таки кофейный бисквит, ведь мы будем пить кофе, и это может показаться нарочитым. Пока забуду об этом, пусть мысль остается в моем подсознании, а завтра решу, шоколад или кофе. Если выберу шоколад, можно использовать настоящий шоколад, простой или темный, растопленный, или какао. Тим что-то говорил о напитках, ликерах, бенедиктине или тиа мария, но я не знаю, когда их подавать, и не хочу опозориться, обнаружив свое невежество.

Не помню, упоминала ли я, что Терри и Джози не смогут прийти в субботу, у их детей ветрянка. Нам придется развлекать Бессиков самим. Какая пугающая перспектива. Я полагаюсь на Пятую симфонию Бетховена, которая растопит лед.

25 января

Я волнуюсь из-за завтрашнего вечера.

Воскресенье

Что ж, теперь, когда все закончилось, я могу оглянуться назад спокойно и безразлично. Опи-

сать прошлый вечер? Ну, перед их приходом я уложила детей спать и дала малышке бутылочку, гостиную обустроила уютно и, надеюсь, со вкусом, расставила стулья и кушетки (у нас шведская мебель) так, как мы с Тимом заранее придумали, чтобы сделать разговор более непринужденным и дружеским. Я смахнула пыль с радиограммофона, сдула ворсинки с иглы и положила Пятую симфонию на видное место. Не удержалась и оставила несколько самых интеллектуальных книг лежать небрежно там и сям, словно мы пользовались ими каждый день, некоторые были полуоткрыты или открыты на страницах с длинными словами; также я поставила на верхнюю полку шкафа коллекцию гравюр Ван Гога и одну работу Пикассо. Я не знаю, что именно означает эта картина Пикассо, однако она производит определенное впечатление, и вряд ли гости опустятся до грубости и станут расспрашивать меня об искусстве.

Тим решил, что напитков у нас не будет, только кофе, а торт лучше сделать шоколадным, с грецкими орехами для разнообразия. Я также готова была в любой момент сделать несколько узких ломтиков тоста с сардиной или томатом. Я хотела, чтобы наш вечер прежде всего получился

непринужденным, без какой-либо искусственности, и чтобы все остались довольны.

Они прибыли в восемь часов. Я задрожала, услышав их машину — одна из новейших моделей, с двигателем сзади. Я бросилась в ванную, чтобы окончательно припудриться и обновить помаду, и рывком открыла дверцу шкафа, чтобы убедиться, на месте ли тарелки и кофейные чашки, и в последнюю секунду положила Пикассо лицом вниз на кофейный столик. Я боялась, что доктор Герберт вдруг спросит напрямик: Что вы видите в этой картине, миссис Харлоу? (Позже, подумала я, когда станем друзьями, мы, конечно же, будем Тимом, Терезой, Гербертом и Элисон.) И вот я ответила на стук в дверь, довольно хладнокровно, хотя голос мой дрожал, и пришлось даже кашлянуть раз или два.

Они весьма милые люди. Мы стали Тимом, Терезой, Гербертом и Элисон с самого начала, хотя я не припомню, чтобы обращалась к доктору по имени, опасаясь, как бы это не прозвучало фамильярно, пусть даже он путешествовал за границей и не замечал подобных пустяков. Он называл меня Терезой. Голос у него очень мягкий, будто мех, и он смуглый, лысоватый, с карими глазами, которые временами кажутся почти

черными; а его жена, наоборот, очень худая, со светлыми волосами и большими серыми глазами, не запоминающимися ничем, кроме размера. У нее оттопыренная верхняя губа, наверное, из-за проблем с зубами, что делает ее лицо похожим на лошадиную морду. Согласна, она довольно привлекательна в других отношениях, но я догадываюсь, что имела в виду Джози, назвав ее сварливой. Мужа своего она зовет *Доктор* — кичится тем, что вышла замуж за врача. Тем не менее я наслаждалась вечером. Мы послушали Пятую симфонию, и Герберт тут же сказал: Так судьба стучится в дверь, Бетховен.

И он (я имею в виду, Герберт, а не Бетховен) подарил мне совершенно особую улыбку. Герберт (простите, если это звучит фамильярно) постукивал рукой по краю стола и кивал в такт музыке, его глаза светились пониманием, а его жена сидела с легкой улыбкой на лице, и ее глаза были словно затуманенными дремотой и оттого какими-то неземными. Я приготовилась тоже кивать и постукивать, чтобы продемонстрировать осведомленность в музыке, однако пришлось выдумать другой способ. Я покачивалась взад и вперед с умным, надеюсь, выражением лица. Тим сказал потом, что я походила на зачарован-

ную змею. Дорогой Тим, как любит он надо мной подтрунивать!

После музыки доктор Бессик (я решила, имя Герберт звучит слишком фамильярно) воскликнул, что Пятая симфония была одной из его первых влюбленностей, и повторил: Так судьба стучится в дверь, снова бросив на меня особый взгляд.

Затем он сказал что-то по-французски, и я попыталась соотнести слова со всеми известными мне французскими выражениями, но понять ничего не сумела, поэтому ответила просто:

— Да-да, — что было как-то наивно, зато с французскими жестами.

Я до последнего момента надеялась вспомнить что-нибудь по-французски и показать свое знание языка, однако в голове крутилось только *Le chat court vite. Le rat court vite aussi* [15].

Без мелких неприятностей, как водится, тоже не обошлось. Сардины получились раздавленными, а пара тостов подгорела. Впрочем, мой кофе они похвалили. Спросили даже:

— Вы сами мелете зерна?

Я хотела тут же сказать, конечно, нет, но сообразила, что, по-видимому, нужно молоть зерна

---

[15] Примечания: 15
Кошка быстро бегает. Крыса тоже быстро бегает (*франц.*)

самим, поэтому ответила:

— Я об этом подумываю.

— О, вы тоже находите кофе из магазинов ужасным? — спросила миссис Бессик.

Я сказала ей, что магазинный кофе безнадежно плох, но приходится мириться.

Говорили еще о смертной казни, и о Дальнем Востоке, и о детской психологии, и Элисон рассказала мне о своей дочери, Магдалене, очень нервной, хрупкой и умной. Бедняжка Магдалена, ответила я.

И Элисон сказала:

— Да, это ужасно. Мы не знаем, в каком мире вырастут наши дети. Если бы только можно было что-то сделать с тем, как устроен мир.

Потом мы обе подавленно молчали. Я согласилась:

— Ах, если бы только можно было что-то сделать с тем, как устроен мир.

Бессики обещали приехать снова или совсем скоро нам позвонить. Теперь я надеюсь, скрестив пальцы, что мы упрочили свое положение в правильном обществе.

Четверг, какое-то февраля

Ничего нового. Бессики еще не звонили, и, думаю, никогда не позвонят. Погода по-прежнему

знойная, по ночам воздух кишит москитами. Не могу припомнить, чтобы раньше так долго не было дождя. Земля похожа на обожженный кирпич, потрескавшийся и твердый, и дети танцуют над трещинами, называют их землетрясениями. Ближе к вечеру я расстилаю коврик на лужайке и лежу там в купальном костюме, лениво дремля или глядя в небо, где видно, как перекатываются и мерцают волны тепла. Помню, в детстве мы часами лежали, глядя на осеннее небо, когда пушок чертополоха плыл над облаком, уже плыл или торопился отбыть в срочное плавание. Куда? И потом облако закрывало солнце, и мы дрожали без его тепла, и казалось, что солнца никогда не было и мы всегда жили в холоде; пока облако не рассеивалось, и мы дрожали от тепла нового солнца на наших спинах, между лопатками, где сходились холод и жар. Забавно, что небо здесь, на севере, отличается от неба на юге, и свет тоже. Внизу, на юге, за спиной постоянно реет грозным фоном, будто глыба серой тени, ледяной континент, крылатая Антарктида. Тьма там страшнее и злее, в ней ты заперт, как в могиле, и ледяной камень никогда не откатится. Здесь, вверху, ночью есть какой-то верхний дневной свет, высоко в небе, и тьма будто прижимается теснее к зем-

ле под ударами солнечного хлыста. Отчего-то я сегодня странно выражаюсь. Размышляла о письме, которое написала мне Дафна, о тьме, свете и континенте изо льда. Надо послать ей банку печенья.

Кстати, пришло письмо от матери, она пишет, что Тоби едет на север и рассчитывает остаться у меня. Я не хочу, чтобы он приезжал. Вечно бездельничает и ждет, что за него все сделают, и это он не ест, и то не ест, ведет себя, как избалованный ребенок. Кроме того, я боюсь, что он меня опозорит или что у него случится припадок на глазах у моих гостей. Я буду жить в страхе, что кто-нибудь из друзей увидит, как Тоби с грязными ногтями и сальными волосами слоняется тут без дела. Возможно, его надо пожалеть. Но мы с ним в разных мирах, он все еще рыскает по свалкам в поисках металлолома, бутылок и разного хлама на продажу, будто так и не повзрослел. Он снова и снова возвращается на свалки, словно ребенок, который постоянно сдирает лейкопластырь, и поэтому его рана никак не заживает, а только больше гноится. Не знаю, почему мне пришло на ум это сравнение. Просто вдруг подумалось.

11 февраля. Понедельник

Бессики до сих пор не позвонили, хотя обеща-

ли. Сегодня шел дождь, и я готова была высунуть язык и пить его прямо с неба. От этого дождя парило теплом. Будь я сейчас на юге, уже появились бы признаки осени: листопад, прохлада ближе к вечеру и первые грибы в укромных уголках, где влажность повыше. А здесь как будто нет ничего, кроме тепла и вечного лета. Мне пришло еще одно письмо от Дафны, очень странное письмо. Я не знаю, вылечат ли ее когда-нибудь, даже с помощью современных методов, вроде электрошока, или инсулинового шока, или той новой операции на мозге, о которой пишут в газетах, ну, той, после которой личность меняется. Как ужасно, наверное, лишиться собственной личности.

18 февраля. Понедельник

У Элисон Бессик прострелено левое легкое, ее мужа арестовали. Ужасно, да? Мне, честно говоря, не верится. Несмотря на то что в утренней газете, на средней странице, есть фотография их дома и комнаты, где совершено убийство. Мне все же не верится. Ужасно, правда, ужасно, да?

19 февраля. Вторник

Город взбудоражен убийством Элисон Бессик. Ходят всевозможные слухи. Одни говорят, что она завела роман с мужчиной из какой-то бухты Восточного побережья, другие утверждают,

что *он* завел роман с одной из своих пациенток, а Элисон об этом узнала, началась ссора, и он хладнокровно застрелил жену. Еще говорят, что он сошел с ума и что его адвокат будет напирать на невменяемость. Другие говорят, что Элисон сама виновата. Вы не представляете, столько слухов ходит. Наш дом был одним из последних мест, которые они посетили вдвоем. Подумать только. Теперь, вспоминая тот вечер, я вижу, что они вели себя как-то странно. Казалось, в его поведении сквозила расчетливая холодность.

ЗАМУЖЕМ ЗА ЧУДОВИЩЕМ. Так называется фильм, который показывают в городе на этой неделе, и я уверена, что этими словами можно описать некоторые семьи, в которых женщинам приходится терпеть жестокость и холодность мужей. Я благодарю небеса за то, что Тим безупречен.

20 февраля. Среда

Я слышала, доктор Бессик не стал отрицать, что совершил убийство. По его словам, он вынашивал эти планы несколько месяцев и счастлив, что они осуществились. Его жена была импульсивной и своенравной, все деньги тратила на косметику, духи и шляпы, а на обед и ужин подавала супругу одни консервы. Вот что теперь

говорят. Однако мне жаль Герберта. Я не могу не вспоминать вечер, когда он обращался ко мне с такой теплотой, будто мы знали друг друга много лет. Жаль только, что я тогда не вспомнила ни одной французской фразы.

Четверг

Ажиотаж вокруг убийства почти стих. Мы с Тимом заработали в городе большой авторитет благодаря тому, что были одними из последних, кого посетили Бессики. Другой доктор и его жена, Бродфуты, пригласили нас к себе домой на следующей неделе, и, хотя я пойти не смогу, уже само приглашение делает меня счастливой. Чего еще можно желать от жизни, кроме как быть популярной и востребованной.

23 февраля. Суббота

Днем мы поехали на машине к морю. Дети, как и положено детям, проводили время, сооружая замки из песка, ища ракушки и слушая, как море поет внутри раковины; и плескаясь. Я поставила Шэрон у кромки воды, где плещутся крошки-волны, и она перебирала ножками по песку и пыталась набрать пену в ладони, чтобы отправить в рот. Бедная маленькая Шэрон. Малышка не могла взять в толк, что произошло, когда пена растаяла и у нее в руках ничегошень-

ки не осталось. Тогда я дала ей одну из лопаток, и она сидела рядом с нами на покрывале, стуча лопаткой по песку, воркуя и пуская пузыри. Я думаю, скоро Шэрон начнет ходить, потому что она уже умеет осторожно красться, держась одной рукой за опору, и она на удивление проворна, даже проворнее мальчиков в этом возраста, хотя Марк начал ходить очень рано. Так или иначе, теперь они все лежат в своих постелях, их милые мордашки покрыты поцелуями, а Тим слушает радио. Он только что закончил работу над отчетом о продажах.

Воскресенье

Прошлой ночью я бросила делать запись в дневнике, чтобы посидеть с Тимом и послушать радио. Как уютен мир, и как мне повезло, что я любима и оберегаема. Я нашла роман «Шагреневая кожа» француза по фамилии Бальзак. Не уверена, понравится ли он мне, но я встретила в городе миссис доктор Бродфут, и она порекомендовала мне эту книгу, и теперь ее нельзя не прочесть. Одолела первые три страницы. Пока не забыла, надо сказать, что на прошлой неделе попала на сеанс ЗАМУЖЕМ ЗА ЧУДОВИЩЕМ, и картина показалась мне местами довольно непристойной. Я не упомянула о фильме миссис доктор Бродфут,

подумав, что он не достоин стать темой для светской беседы, хотя он и французский; но потом я узнала, что все местные интеллектуалы смотрят этот фильм, и пожалела, что не упомянула о нем миссис Бродфут, компенсировав то, что я не слышала о «Шагреневой коже» Бальзака. Но теперь для сожалений слишком поздно.

25 февраля. Понедельник

Утро выдалось ужасным. Я купила пару туфель на распродаже и, придя домой, обнаружила, что правая сдавливает мне стопу, а поменять нельзя. О, как я ненавижу этих жеманных продавщиц.

Сегодня пришло письмо от матери, в нем та же самая песня, что все хорошо и благополучно. О, ее я тоже ненавижу, скорее бы она положила конец своим страданиям и умерла. Она вроде бы уже давно болеет. Пишет, что папа был в больнице, разговаривал с врачом Дафны. Саму Дафну он не видел, так как она недостаточно здорова, чтобы принимать посетителей. Он сказал, что лечебница утопает в цветах, там большие лужайки и ухоженные дорожки, — в общем, настоящий рай для бедных умалишенных. Без сомнения, они счастливее там, чем во внешнем мире. Но как я покажусь людям на глаза, если кто-то узнает, что моя сестра в лечебнице? Я поражена отцовской

смелостью, обычно он весьма неохотно совершает ответственные поездки или сделки. Он бросает курить. Боится заболеть раком.

11 марта. Понедельник

Тим дразнит меня по поводу количества косметики и говорит, что мне надо привести в дневнике подробный список баночек и скляночек. Итак, я приняла вызов и сейчас напишу отчет о своих ритуалах красоты. Я могла бы написать целую страницу про макияж, ночные кремы и увлажняющие лосьоны, про тональную основу (я использую жидкую — недавно перешла на «Вистерия Пич Блум»), про губную помаду (мой любимый оттенок «Красный гренадер», а также «Мак» и «Пунцовое пламя»), про пудру для лица (в последнее время я отказалась от декоративной косметики, потому что она забивает поры), шампунь для волос (в какой красивой бутылочке он продается — вот уж действительно платишь за флакон). Да, еще про мою компактную пудру, духи, масло для ванны, дезодорант и то ужасное средство, которое убирает волосы с подмышек и легкую тень над верхней губой. Я уверена, что в составе есть известка, которая попросту выжигает волосы, и на упаковке написаны пугающие предостережения, большими буквами:

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА.

Меня от этих слов бросает в дрожь, потому что я всегда боялась ослепнуть. Как ужасно быть слепым.

Вот, на описание моей косметики ушла почти страница, и Тим вновь надо мной смеется. Дорогой Тим! Похоже, мы уедем на юг раньше, чем я думала.

Отказаться от переезда я не могу. Но Уаймару! Мертвый город, где никто не улыбается, а пожилые женщины судачат о каждой, кто осмелится надеть открытый топ или раздельный купальник. Полагаю, меня будут считать вернувшейся блудной дочерью, словно у меня нет ни социального положения, ни достоинства, ведь там во мне видят девочку, которая когда-то жила в городе и ходила в местную школу. И они станут гладить моих детей по головам и улыбаться, замечая сходство со мной, которого я сама не замечаю, и я почувствую себя сбитой с толку и невнимательной. И если мой отец приедет в гости, он начнет кричать на детей так же, как кричал на нас. Он будет вести себя властно и, когда ему что-то понадобится принести, скажет Марку:

— Сбегай для дедушки, да поживей, малец.

Он велит, чтобы их было видно, но не слышно, испортив всю мою детскую психологию. А моя мать будет вмешиваться, подмигивать детям и угощать их конфетами, прекрасно зная, что сладкое им нельзя, засыпать подарками и рассказывать истории: Однажды, давным-давно…

— Однажды, давным-давно, ты знаешь, что случилось давным-давно? — Не-е-е-т. — Что ж, тогда я тебе расскажу.

Моя мама снова помолодеет и будет счастлива, воображая, что дети ее собственные, и станет для них кладезем мудрости и волшебной феей, которую дети зовут бабушкой.

И будет держать в кармане сласти, чтобы совать их внукам в рот?

Нет, это лишь мечты, им не суждено сбыться. Отец раздражительный и нервный, мать увядшая и почти при смерти.

О, мне вдруг захотелось к старой черноволосой бабушке, которую мы представляли негритянкой; она сидела, словно вулкан, в длинном черном платье посреди кукурузы и картошки в своей Вирджинни: моя бабушка мудрая и так долго нагревалась солнцем, что пахла едой, и я взбиралась к ней на колено и зарывалась носом и ртом, как каннибал, в ее кожу, исходившую паром.

Не стоит мне мечтать об этом. Я боюсь ехать в Уаймару. Мир детства расширяется с каждым желанием ребенка, и его можно даже носить, как волшебный плащ, на плече. Я вернусь в Уаймару и найду его, как шагреневую кожу, которая будет сморщиваться от каждого моего желания, пока не станет меньше морщинки между большим и указательным пальцами.

А потом — Тоби и свалка, на которой построен наш дом. Я запрещаю себе о них думать.

Утро

Прошлой ночью в постели я рассказала о своих страхах Тиму. Он ангел, который умеет сделать так, что при дневном свете все кажется ерундой, записанной на страницах дневника. Я редко бываю непрактичной, хотя иногда поддаюсь настроению. Тим ангел, за исключением того, что пролил чай на чистую простыню.

Наверное, осень уже никогда не наступит. Питер говорит, что, по его мнению, мир застрял в лете. Думаю, он прав. Быть может, теперь всегда будет лето.

18 марта. Понедельник

Сегодня начался суд над Бессиком, и один из свидетелей, а их множество, — электрик, который пришел снять показания счетчика. Похоже,

он слышал, как Бессик угрожает жене. А соседка, которая нашла сбежавшего котенка их дочери, слышала, как Элисон сказала мужу: Это скоро кончится.

Очевидно, она имела в виду их отношения. Какой ужас. Сегодня произошло еще одно ужасное событие. Питер и Марк принесли в дом старую банку с краской и вылили ее на ковер в гостиной. Я не знаю, как вывести пятна, поэтому хочу написать на одну из радиостанций или в какой-нибудь женский журнал. Я стараюсь содержать дом в чистоте. Не позволяю Шэрон кататься на лошадке-качалке, чтобы не повредить ковер и линолеум. Тим считает, что я слишком увлеклась созданием уюта. О, я устала, я несчастна, вот бы что-нибудь случилось. Сегодня меня обманул бакалейщик: дал мне вафли и чай отдельно, по фунту, а затем посчитал по два фунта и того, и другого, а чай и шоколадные вафли и так дорогие.

Два месяца спустя

Герберта Бессика в прошлую пятницу повесили, несмотря на письма в газету и прошение генерал-губернатору об отсрочке.

Тетка из Англии забрала к себе маленькую Магдалену, их бедную дочь, которая училась балету и мечтала о «Жизели». Дом Бессиков выстави-

ли на аукцион. Репутация у него незавидная, зато с видом на гавань, поэтому, возможно, его купит какая-нибудь богатая пара. Мебель продается отдельно. Джози сказала, что там есть барная стойка, которую она попытается купить по сниженной цене. Выяснилось, что у них был и магнитофон, и радиола, специально привезенная из-за границы, и изысканная коллекция грампластинок малоизвестных квартетов, концертов и октетов. Как они, должно быть, потешались, когда я поставила Пятую симфонию. Так судьба стучится в дверь. Для визита Бродфутов придется подобрать что-нибудь помрачнее и позаковыристее. Куплю недорогой справочник о том, какую музыку лучше слушать, почерпну оттуда идеи для вечера, и надо непременно изобразить скуку, если речь пойдет о хорошо известных шедеврах.

Меня удивило, что часть мебели из дома Бессиков была самодельной или совсем дешевой; трудно понять, как могут нравиться такие вещи, примитивные и слишком художественные; да и стиль этот сейчас выходит из моды, говорит мне Джози, и никто из людей с высоким положением в обществе или искусстве не глуп настолько, чтобы покупать соломенные циновки и накидки для стульев, которые будто из хижины туземного

вождя.

Знаете, я пришла к выводу, что я сноб. Мне самой это не нравится, но я, кажется, сноб, хотя, может быть, и нет, в конце концов, к такой мысли меня подталкивает только моя неизменная честность. В следующем месяце непременно приедет Тоби. Будет лютый холод и жуткая непогода, и он войдет, как потрепанный и искалеченный призрак, чтобы оттаять у моего камина. Думаю, он останется только на одну ночь. Я надеюсь, что он останется только на одну ночь.

Бессика повесили в пятницу утром, совсем рано, в то самое время, когда я крошила «Вит-бикс» [16] мальчикам в тарелки, посыпала сахаром и добавляла молоко; и грела бутылочку для Шэрон. Милое дитя, теперь она раскачивается всегда и всюду, и хотя Тим постоянно говорит мне принести лошадку-качалку из гаража, я вынуждена отказаться, потому что ковры и линолеум будут испорчены. И она ползает с предметами во рту, как щенок. Милая Шэрон. Для ребенка я готова на что угодно!

Детей у нас больше не будет. Позже мы отправим Питера, Марка и Шэрон в школу-интернат,

---

[16] Примечания: 16

Популярная в Австралии и Новой Зеландии марка цельнозерновых хлопьев для завтрака, которые выпускаются в форме галет.

а сами хотим съездить за границу. Мы с Тимом присоединимся к одному из кругосветных туров, в которых отпуск полностью планируют за тебя и показывают действительно важные достопримечательности. О, я люблю жить, и в нашей кругосветке будет все, чего я всегда жаждала: роскошь, наряды и путешествия, — даже когда была неряшливой, бедно одетой девчонкой, которая в морозный день подпирает школьную стену, наблюдает, как остальные прыгают через скакалку,

прыг-скок, эге-гей,

солнце светит веселей,

и ждет, когда ее тоже позовут в игру. С Шэрон такого не случится. Я куплю ей, как только подрастет, скакалку с расписными ручками и кукольную коляску с шелковыми кисточками, свисающими с капюшона; и кукольного младенца, который умеет плакать, ходить и писать в пеленку, и лежит на атласном матрасике, положив голову на подушку с вышивкой и оборками; и кукольный домик, и игрушечный чайный сервиз из настоящего фарфора. Я куплю Шэрон все, что она только пожелает.

Пятница

До сих пор не могу выбросить из головы ужасный сон, из-за которого я ночью проснулась и

плакала, пока Тим меня не успокоил.

Это только сон, дорогая, твердил он, наверное, съела за ужином что-то не то. А я все говорила: это не сон, это наяву, я знаю, что наяву.

Как глупо. Теперь я думаю, что всему виной соленые крекеры и сыр, которые мы ели, когда вчера пришли в гости Бродфуты, а еще хлопоты из-за подготовки к их визиту, и размышления о том, что надеть, и попытки вспомнить, какие книги я читала в последнее время и какую музыку слушала.

Так вот, сон, из-за которого я плакала в ночи, позвольте мне про него рассказать.

Мы с Тимом посреди пустыни готовились к приему двух гостей. Я хорошо помню пейзаж; повсюду песок, и засохшие деревья, и купы увядших кустов, и так жарко, как будто солнце светило сквозь стекло. Через пустыню не протекала ни одна речка, не было оазисов с финиковыми пальмами и бахромой зелени у прозрачной воды. Не нашлось там и других людей, кроме одного сморщенного ребенка, арабской девочки, закутанной в белые одежды, она сидела неподвижно, словно мертвая, на причудливой, выросшей из песка лошадке-качалке, выкрашенной в черный цвет, с языком в ярко-красных, желтых и синих

полосках.

Как я говорила, мы с Тимом готовились развлекать каких-то двоих гостей; но у нас не было ни еды, ни напитков, мы просто сидели, скрестив ноги, на песке.

Ты для них будешь петь, — сказал мне Тим, — если сможешь найти песню.

А я ответила ему: Ты будешь для них танцевать.

И хотя я знала, что там нет ни еды, ни музыки, я продолжала оглядываться в поисках кофе, сардин и радиограммофона с пластинкой Пятой симфонии наготове.

А потом вдруг арабская девочка начала качаться на своей лошадке, вздымая клубы песка и пыли, причем они не поднимались до облаков, и я увидела, что песок состоит из частичек золота, и пыль тоже, и закричала Тиму: Тим, Тим, пусть она прекратит, пусть она перестанет, она уничтожает золото. Гляди. Все песчинки улетят в небо, и мы никогда их больше не увидим. Пусть она перестанет, Тим.

И Тим ответил: Тереза, ей ведь это нравится. Смотри, ее маленькое арабское личико озарилось улыбкой. Пусть покачается еще.

А я закричала в ответ: А как же золото, Тим.

Золото. Останови ее.

Тогда Тим подошел к маленькой девочке и заговорил с ней, после чего она слезла с лошадки, и вдруг лошадка исчезла вместе с ребенком, не оставив никаких следов, кроме языка в ярко-красных, желтых и синих полосках, теперь выросшего и ковром расстилавшегося на песке. Потом появились двое наших гостей, они вышагивали по ковру. Сначала я подумала, что это Элисон и Герберт Бессики, это *точно* Элисон и Герберт Бессики; но, когда они подошли ближе, я увидела, что это мы с Тимом, только другие; поскольку Тим злобно улыбался, а я прижимала руку к своему боку, под грудью, и удивительно, что я вообще могла ходить, ведь кровь текла из раны в боку, и на красной полосе ковра образовывался узор, словно так и задуманный. И вот пара из сна подошла к нам, и я заплакала и повернулась к Тиму; но его там не оказалось, я нигде не могла его найти, были только двое сон-людей, идущих ко мне; и я затянула детскую песенку, которую мы пели в школе много лет назад, про Миску и Панни:

Скачет верхом Миска-весельчак,
Красавица Панни ждет у ручья,
Он в курточке красной и желтых сапогах,

Но ручей между ним и любимой — увы и ах.

И когда я допела эту песню, на мир вокруг внезапно упала тьма, и я вспомнила из школьной географии, что в пустыне темнеет так быстро, будто солнце вырезали с неба; и я увидела недосягаемо далеко наш дом, разглядела жалюзи на окнах и террасу, каждую деталь до желтого карниза, но дом казался бумажным, поскольку его стены колыхались и шли волнами. Теперь я думаю, стены были черные, и я смотрела, как они колышутся, в течение многих секунд, прежде чем поняла, что смотрю на что-то другое. На черного бумажного человечка, свисающего с неба.

Доктор Бессик, — вскричала я.

Потом я поняла, что это Тим, и он держал под мышкой портфель с золотыми буквами, я могла прочитать надпись: Отчет о продажах Отчет о продажах Отчет о продажах.

Мне это показалось очень смешным, и я начала смеяться, а потом почувствовала боль в боку и не могла больше стоять, поэтому легла на ковер, расстеленный в пустыне, думая, что вот-вот умру. Где Тоби, Фрэнси и Дафна? А мои мать с отцом? Фрэнси, Фрэнси, крикнул я. Тоби, Тоби. Дафна.

Никто не пришел. Я чувствовала себя одинокой и несчастной, поскольку ко мне никто не

пришел. Снова появилась маленькая арабская девочка, только уже изменившаяся, счастливая; она стояла, улыбаясь и держа в одной руке метелку тои-тои, а в другой — соленый крекер, намазанный сыром. Вряд ли она меня заметила. Я снова заплакала, и тогда я проснулась и в полусне увидела мертвого человечка из черной бумаги, лежащего рядом со мной; и я закричала. Все это было так странно, и на одну какую-то секунду мне захотелось стать маленькой темноволосой девочкой в перепачканном сарафане, сидящей на помойке и смотрящей на облака, похожие на белые тапочки или шелковые рыбки.

Рассказ об этом сне меня утомил. Спокойной ночи.

Суббота

Думаю, от возвращения в Уаймару я все-таки испытаю определенное удовольствие — оттого, что я по-новому раскроюсь перед людьми, знавшими меня ребенком и запомнившими оборванной смуглой девчушкой, *цыпленком*, тихой, застенчивой старшеклассницей в жакете таком маленьком, что он не мог прикрыть даже мое незначительное физическое развитие; грязной оборванкой, идущей с поручениями к мяснику или бакалейщику и лопочущей испуганно, по-

тому что ни одна монетка не пригрелась в моей ладони — Фарша на шесть пенсов, пожалуйста, или — Два фунта бифштекса и фарша на два пенса для кота. Неужели никто не вскрикнет от радости, когда я вернусь и люди узнают, что я взрослая, замужем, родила детей (два мальчика и девочка — какая комбинация может быть удачнее?), что в моем доме есть стиральная машина «Электролюкс», холодильник, паровой утюг, электрическая плита и все современные приборы, какие и не снились моей маме и какие, я уверена, никогда не появятся у половины моих бывших друзей. Застряв там, в Уаймару, как бы я это вынесла, если бы нечем было *похвастать*ь?

Среда

Сегодня утром пришло известие о смерти матери. В телеграмме говорится, что она мирно скончалась ночью и что все хорошо. Как странно писать, что все хорошо! Как будто моя мать сама оставила этот постскриптум. Она *и правда* умерла? Я еще даже не плакала, все это кажется таким нереальным. Мы не поедем на юг на похороны, поскольку у нас дети и прочие дела, но мы послали красивый венок из самых ранних фиалок и нарциссов и открытку, купленную у Петерсонов, они специализируются на изысканной печати

для похорон, свадеб, дней рождения и других важных событий.

Как же мать будет выглядеть? Похожа на пергамент, а веки свисают желтым крепом, как я читала в книге? Не верится, что она мертва, но я рада, я рада ее смерти.

Четверг

Получила несколько телеграмм и открыток с соболезнованиями от друзей, которые знают о матери или прочитали в газетах. Лучше бы папа ничего не публиковал —

И когда пойду и приготовлю вам место,

— или даже любой другой текст в газете. Это кажется безвкусицей; теперь я опасаюсь, что каждый год семья будет придумывать и печатать в мемориальной колонке какой-нибудь стишок и позорить меня перед моими друзьями из высшего света.

Похороны сегодня.

Питер принес записку от школьной медсестры, где говорится, что ему нужно лечить зубы, и я поведу его в клинику в следующий вторник к трем часам.

Мать похоронят рядом с другими членами семьи, если для нее найдется место. Теперь отец будет чахнуть, и я боюсь, что он умрет, и как

будет странно, что мой отец мертв, маленький дерганный человечек из жестокости, тирании и детского послушания. Что тогда станет делать Тоби? А Дафна?

О, моя мать была такой большой, словно рука суши, которая удержит море и не прольет ни капли. Я не могу представить ее смерть. Я вижу ее дома, как она выкладывала оладьи на сковороду, или напевала свою полупесенку, вытирая посуду грязным и мокрым кухонным полотенцем, или стояла под снегом, когда мы жили далеко на юге, где железнодорожные будки красные, словно герани; увязнув в белизне сапогами, она стоит и говорит нам:

— Детки, детки, к нам в стужу прилетела белоглазка, и это означало, детки, детки, прилетела белоглазка к ней, чтобы укрыться от снега и найти в ней мед, ибо она знала свое величие и сладость и не могла шевелиться, чтобы не пролить ни капли, и я хотела обхватить ее руками, как суша обхватывает озеро, крепко обняв ее, и не дать ей расплескаться ни на кого, кроме меня, ведь я самая младшая; а между тем не о матери я тоскую, а о бабушке моих детей; только, да, она приходится мне и матерью, которая давно должна была умереть, она так устала подме-

тать свой дом и весь мир; и я забиралась к ней на колено, расстегивала ее блузку и брала ее грудь в рот, потому что никто не приходил за мной и не говорил: Это мое.

Ох, не знаю, я словно наполовину Дафна, когда пишу эти строки, на меня не похоже, словно подействовало заклятье.

Пятница

Возвращение к нормальной жизни. Кажется, я потеряла счет времени. Тоби приедет с ночевкой на следующей неделе. Я молилась и молилась, чтобы он не приехал, потому что теперь мы дружим с Бродфутами, и если Гарольд, то есть доктор Бродфут, увидит Тоби и, вероятно, догадается, что у него припадки, — это понятно по глазам Тоби, по его красному лицу и спотыкающейся, почти пьяной невнятной речи, — если Гарольд все это заметит, я никогда не оправлюсь от позора. Тоби, почему ты не понимаешь, что ты мне не нужен, что тебе нет места в моей жизни, что маленькая девочка, которая играла с тобой на свалке, разыскивая сокровища и волшебные чудеса, теперь взрослая женщина, которая живет счастливой нормальной жизнью и не хочет иметь ничего общего с твоими странными манерами и приступами.

29

Тоби не стал читать дальше. Он закрыл дневник, наклонился и бросил его в огонь; затем, вспомнив, что видел в гараже под домом деревянную лошадку-качалку, выскользнул из дома и спустился по лестнице, зажег в гараже свет и посмотрел на ярко-синюю лошадку с золотыми стременами и серебряными удилами, навечно вложенные в деревянный рот, и на мраморные глаза, которые разок-другой моргнули на свету. Тоби взял лошадку-качалку, держа ее перед собой, поднялся по лестнице и отнес ярко-голубую игрушку в центр гостиной, где она теперь стояла на ковре из зеленых листьев, как живая лошадь в теплом лесу. Затем Тоби пошел в комнату Шэрон. Девочка лежала, раскрасневшись и скинув с себя одеяло, в своей кроватке, ее рука сжимала полупустую бутылочку с молоком, которую она во сне притягивала к себе и сосала, шевеля пальцами ног от удовольствия. Тоби поднял Шэрон, и она заплакала. Он укутал ее одеялом и отнес в гостиную, где посадил в седло лошадки-качалки, сжав ее кулачки на поводьях.

— Качайся, — мягко сказал он. И он ласково

погладил ее под подбородком и сказал: — Агу, агу, агу, — как делали его дяди, или как они делали в его воображении, когда он сам был ребенком, но крошечным, голодным, и без лошадки-качалки. — Качайся. Давай, вперед.

Девочка, казалось, не понимала и продолжала плакать, Тоби наклонился и сам раскачал лошадку, однако девочка не переставала плакать, уже негромко, и слезы текли по ее толстому подбородку; поэтому он поднял ее, обняв своими грязными волосатыми руками ее теплое шелково-мягкое тельце, и сел у огня. Дневник уже почти сгорел, и Тоби не чувствовал вины за то, что его сжег. Пламени угощение понравилось, и оно сверкало, как ряд мстительных глаз, сквозь полуопущенные стеклянные веки камина.

— Ну, согрелась? — спросил Тоби свою одиннадцатимесячную племянницу, которая из-за сонливости и немоты, свойственной младенцам, не могла сказать ни слова в ответ, а спала теперь у него на руках.

Он отнес ее обратно в кроватку, укрыл, хорошенько подоткнув одеяло; и, вернувшись в опустевший и сырой лес, ступая на мертвые и умирающие листья, водворил изумленную и моргающую лошадку назад, в гараж. Иней на траве

блестел, словно капли белого супа на зеленой бороде, и дыхание Тоби, когда он поднимался по лестнице, вырывалось, как дым, изо рта не дракона, а всего лишь Тоби Уизерса, окоченевшего от холода.

А потом он взял свой складной чемодан, который, будучи пустым, сплющился, как гармошка; чемодан принадлежал дяде Луи, умершему от рака в маленькой комнатке наверху с ланолином и желтой кожей, и пахнущей, в пору ранней весны, когда он умер, малиновой наливкой, разлитой в воздухе, окрашенной в синий цвет и слишком сладкой, чтобы ее пробовать, и Тоби положил в чемодан пижаму, расческу, бриллиантин, мыло, электробритву, свитер; захлопнул потертый, глухо звякнувший полупустой чемодан, вышел из дома сестры и переправился на пароме в город, который называли джунглями.

Он был измотан, а мать попрощалась с ним на перроне, вынув кружевной платок, единственный оставшийся с первой войны, из тех, что Боб прислал из Парижа — в уголке вышивка *Toujours L'amour* [17]; чтобы помахать Тоби на прощание; и сказать с помощью взмаха платка, что нужно

---

[17] Примечания: 17
Любовь навсегда (*франц.*).

помнить и как поступать в таком долгом путешествии из дома в чужой город, полный трамваев, и светофоров, и троллейбусов, и бандитов — да, бандитов, рыскающих средь бела дня с пистолетами в карманах и масками из черного шелка наготове.

— До свидания, Тоби.

И потом то, что нужно помнить:

— Помни, что поезд идет прямо до пристани. Не выходи на Крайстчерче.

— Помни, что в пути нельзя высовывать голову из окна, иначе она оторвется, скатится между рельсами и будет искромсана, Тоби. Искромсана.

На прошлой неделе был искромсан мужчина, у него остались жена и трое детей.

— Помни, Тоби. Когда сядешь на корабль, вежливо спроси дорогу к своей каюте, если заблудишься; затем ложись спать; ешь крекеры; и всегда иди с кораблем в такт.

— И еще не высовывай голову из иллюминатора.

— Тетя и дядя встретят тебя ночью в Веллингтоне и отвезут к поезду. Прими свои таблетки, Тоби, и веди себя хорошо. И никогда-никогда не разговаривай с незнакомцами, а если вежливый мужчина предложит тебе кулек леденцов или

мороженое, скажи: Нет, спасибо.

Так она попрощалась и продолжала махать своим кружевным платком на случай, если Тоби оглянется, чтобы посмотреть, но он не посмотрел, ведь тогда пришлось бы высунуть голову из окна и лишиться ее, и остаток пути ехать без головы. Он сидел, наблюдая, как снаружи за окном поднимается пар, и сквозь пар глядел на голые и промокшие загоны со сломанными ограждениями и воротами, у которых одна створка болталась; на пятна болот и льна; на торчащие вверх стога сена; на нескольких овец, рано остриженных, несчастных и белых, словно кокосовый орех; и на трех сорок, вылетевших из-под поезда; и Тоби, увидев их злобные клювы, вспомнил, что сороки выклевывают детям глаза, даже через окна вагона; и он подумал: Спрячусь в уборной, пока сороки не улетят.

Так что он пошел по проходу, извиняясь каждый раз, когда на кого-нибудь налетал, и, открыв дверь вагона, чуть не упал, сбитый с ног гулом и грохотом; и, напуганный, он открыл дверь с надписью: *Туалет для джентльменов*.

Он посмотрел вниз и увидел проносившуюся мимо землю, гравий и островки зелени, которые могли быть щавелем или одуванчиками; и он

подумал, удивляясь: Она упадет между рельсов, посередине, и придут люди с лопатами и закопают ее. В следующий раз посмотрю на рельсы и сам все узнаю. Мы все посмотрим. Что бы сейчас делала Фрэнси, а Цыпка и Дафна? Ой, ой, что, если они найдут мою самую секретную одинокую хижину среди сосен!

Тоби сделал глоток воды из бумажного стаканчика, который он сложил, чтобы выбросить и посмотреть, как тот упадет. И тогда он подумал: Сороки скрылись; и открыл дверь в гул и грохот — впе-ред впе-ред впе-ред вос-торг вос-торг без-пре-дела без-пре-дела! — и нашел дорогу к своему месту в углу; снова извиняясь перед каждым, на кого натолкнулся, хотя и без улыбки, потому что они незнакомцы и преступники с кульками леденцов в карманах, чтобы угостить его и коварно похитить.

И порой, когда он сидел, глядя, как мимо скользит мир, и реки, и мосты, он вспоминал мать, которая махала ему рукой на прощанье и перечисляла список указаний, и он думал: А что, если я никогда ее больше не увижу? Что, если это и правда уловка, чтобы меня продать, отправив на отдых в северный город, чтобы меня увезли прочь на иностранном корабле? И он вспомнил

лодки, которые иногда видел на пристанях, красные, желтые и белые лодки с развевающимися флагами; и воду, которую грубо расталкивали борта лодок; и море, пинающее эти бока; и людей, которые ходят с подзорными трубами в руках и выкрикивают «Хей-хо! Хей-хо!».

Но эта мысль просто его поддразнивала, ведь он знал, что мать ждет его возвращения, и сестры тоже, и они скажут:

— А у тебя случались припадки?

И миссис Робинсон через дорогу спросит о нем, потому что она говорила:

— Представляете, миссис Уизерс отпустила своего мальчика в отпуск одного, с его-то припадками.

Его встретили в Веллингтоне дядя и тетя. Посадили на поезд, где двери закрывались без прикосновения, словно по приказу; и повезли к их дому, где, по словам дяди, вокруг были холмы «высотой в два рослых куста, мой мальчик».

На заднем дворе были сухое дерево, веревка для белья и гараж с жестяной крышей; и куда ни глянь с заднего двора, везде виднелись дома, и постиранное белье, и ящики с углем за заборами; и было слышно, как люди разговаривают и как люди кашляют; воздух над домом висел пустой и

холодный, без единой птицы. Двоюродный брат Тоби играл на органе, он еще мальчик, религиозный, с гимнами и всяким таким, а двоюродная сестра без предупреждения начала произносить молитву за столом, а Тоби уже приступил к еде, и дядя нахмурился. И днем они повели его сначала в сады, через оранжерею, переступая через шланги и трогая гигантские розовые цветы, подписанные по-иностранному на куске дерева и привязанные, будто могли убежать; и каждый цветок в оранжерее и папоротник в папоротниковых зарослях был выставлен для обозрения, люди толпами ходили взад и вперед и смотрели, вертя головами и говоря:

— Какой чудесный цвет.

Или:

— Мне нравится этот оттенок, он как на платье у Мэг, только глубже.

Или:

— Вы можете прямо сейчас купить футболку такого цвета, причем ее не надо будет гладить.

Или:

— Прекрасные цветы! Прямо-таки заставляют задуматься, верно?

И все вертят головами туда-сюда, словно куклы.

Так Тоби провел день, сначала глазея, потом в «Саунд Шелл», где играли музыкальные группы, а потом в зоопарке, где живет одетый в старую желтую шубу полярный медведь с красными и влажными глазами, как будто он простудился. У всех животных, казалось, глаза воспаленные, словно они слишком много смотрели на яркое солнце, и Тоби подумал, что, может быть, у его тети и дяди, двоюродного брата и сестры, и у него самого красные глаза, и он спросил у сестры:

— У меня глаза красные?

— Что за глупости, — ответила она. — Глаза краснеют, только когда плачешь и все такое.

А потом дядя, который интересовался историей, повел их смотреть на туатару. Они стояли полчаса, ожидая, пока она шевельнется, но она вроде бы спала, и в помещении было душно, и двоюродная сестра хотела в туалет, и все остальные тоже, просто никто не признавался. Тогда они спустились под памятник, женщины пошли в женскую половину, а Тоби, двоюродный брат и дядя в мужскую. Каменный пол был покрыт склизким зеленым мхом. Из одного крана капала вода, а еще было маленькое окошко, разбитое и залатанное проволочной сеткой, и дядя сказал, что его разбили малолетние правонарушители,

которых, сказал он, в городе пруд пруди.

Тоби спросил, как они выглядят, на каком языке говорят, одеваются ли как люди, живут ли в норах или где-то еще. И дядя сказал тем же голосом, которым говорил: Высотой в два рослых куста, мой мальчик.

— Ты еще не в курсе, Тоби. Город — ужасное место.

30

Так он ходил всю ночь, неся чемодан и пальто, взад и вперед по улицам города, который называли джунглями. Прибыв туда, поначалу он увидел немного людей: полицейского, дергающего на ходу дверные ручки у магазинов; мотоциклистов в кожаных куртках и очках, толпящихся у гастронома; женщину, Цыпку, высокую, смуглую и бледную, у которой румянец спал с лица и глаза глядят устало, она стояла возле почтамта перед почтовыми ящиками с их непристойными ртами. И Тоби вспомнил истории о душе, вылетающей из тела, и потом у всех, кто проходил мимо, он видел души, вылетающие прямиком в почтовые ящики, а люди шли дальше, бездушные и ничего не подозревающие. И он увидел маленького мальчика, который испуганно смотрел на него и думал: У этого дяди в кармане кулек с леденцами для меня, и маска из черного шелка, и лучевой пистолет, а космический корабль, припаркованный поблизости, невидимый, готов увезти меня на Луну или на Марс.

И ребенок в ужасе попятился, когда Тоби обратился к нему:

— Привет, человечек, ты заблудился?

Затем наступило мертвое, сырое время блестящих улиц, когда киносеансы еще не закончились, и там был высокий мужчина в черном шелковом пальто, таком же мокром и блестящем, как улица, и шел он из ниоткуда в никуда. Он служил ночным портье в гостинице, шел на работу, чтобы расстелить газеты в кладовой отеля, достать крем для чистки обуви и вынуть щетки из коробки, и забрать ботинки из-под дверей, запоминая, где какие стояли, чтобы начистить их до блеска, и его бледная, натруженная рука прячется на две или три минуты в каждом выпуклом и пустом кожаном гнезде; затем забраться в лифт, ворота которого клацнут железными зубами; и сидеть в своем безопасном закрытом ящике, на деревянном табурете, ждать и отвечать на вызовы всю ночь, пока не сварится первое утреннее яйцо для раннего завтрака и не появится под дверью первая газета; и кухарка, пришедшая на дежурство, засучит рукав и скажет:

— У меня локоть красный. Смотри, у меня локоть красный.

Весь вечер Тоби ходил по улицам. И горожане, которых держали внутри театров и залов какими-то подвязками или корсетами, вылетали,

разорванные и развязанные, на тротуар в десять или одиннадцать часов; они падали и тут же поднимались, так что их падение больше походило на сон; торопились к трамваям, автобусам и паромам, женщины, откормленные и укрытые мехами, с корзинами фруктов, вишен или винограда, свисающими из ушей; в сопровождении мужчин, богатых и зажиточных, но не всегда; да и не все женщины могли похвастать цветущим садом на лице.

Тоби посмотрел на высокую и бледную женщину, шагающую рядом с ним, и сказал:

— Цыпка.

Она остановилась.

— На вашем месте я бы выбрала имя получше.

— Значит, Тереза, — сказал Тоби. — Она мне просто сестра.

— Какая трогательная семейная идиллия. Вы ее ждете?

— Нет. Я нашел ее мертвой и не знаю, что делать.

— Вызовите полицию или врача и сотрите все отпечатки пальцев.

— Недавно умерла моя мать.

Девушка, Марджори, подумала: Ах, бедняжка, деревенский мальчик с чемоданом и плащом

приехал в город с фермы, чтобы осмотреть достопримечательности и известные места, напуганный и тоскующий по матери и сестре. Она улыбнулась про себя. И я такая же. Одеваюсь как хочу, и говорю что думаю, так как работаю на фабрике.

Она решила.

— Пойдем-ка перекусим и поболтаем.

И повела Тоби в ресторан. Они сели за маленький столик, накрытый стеклом, а под стеклом две бумажные салфетки, испачканные в равных частях вустерским и томатным соусами. И они оба заказали рыбу с картофелем фри и кофе, и пунцовая официантка через двадцать минут принесла им два узких ломтика хлеба, два шарика масла с красивым узором и две тарелки с рыбой и картофелем; а также две чашки кофе, которые, по словам Марджори, напоминали реку Уаикато во время разлива.

А потом она сказала:

— Я работаю на фабрике, знаешь, делаю чулки. Начинала на шерстяной фабрике, а потом пошла на шоколадную, но располнела, так что теперь я на чулочной. Когда наберусь опыта в нейлоне, пойду работать в нижнее белье «Юдора».

Она наклонилась к Тоби, прикрывая рот ладо-

нью, чтобы никто больше не услышал ее шепот:

— Я слепну. Ты заметил, что я подслеповата? Через год-два я буду стучать белой палочкой и плести корзины.

И Тоби, стоя в одиночестве или бродя по улицам, глядя в витринах на радиоприемники, и стиральные машины, и ковры, и драгоценности, и книги, и одежду, и игрушки, и на безмолвные одинокие тени людей, видел девушку, Марджори, или Фэй, или Цыпку, или как там ее зовут, идущую рука об руку с матросом; и подумал: Интересно, что, если бы я с ней заговорил? Что, если бы я с ней заговорил. Он видел, как они растворились в темноте.

И тут он вспомнил, очнувшись ото сна, что по возвращении из городского отпуска он не увидит мать на вокзале, она не встретит его, не спросит, случались ли у него припадки, не напомнит отдать билет кондуктору и не предостережет, чтобы он не вышел на другой станции, не высунул голову из окна, и не заговорил с незнакомцем; и он был рад, что не обратился к той бледной смуглой девушке, потому что его мать недолго покоилась в могиле, она заперта под землей, а она никогда не выносила быть запертой, даже в одежде или в дешевых бусах, обтягивающих шею, она рассте-

гивала верхнюю пуговицу платья и расстегивала бусы, чтобы легче дышать и освободиться.

31

Какое-то августа

Похоже, я никогда не узнаю точную дату, когда я начала новый дневник после того, как потеряла старый. Не понимаю, что с ним произошло. Тим дразнит меня и говорит, что спрятал его, читает и наслаждается; но я знаю, что он просто надо мной подтрунивает. Я помню, что дневник пропал после того, как ушел Тоби, а Тоби ушел так внезапно, что дети могли бы сгореть заживо, и нас обличали бы в «Вечерней звезде» как пример родителей, которые оставляют малолетних детей одних на ночь. И я не знаю, что Тоби сделал с ковром в гостиной, но он безнадежно испорчен.

Мы уедем на юг в следующем месяце. Не могу скрыть свое волнение, как и дети, которые расспрашивают и расспрашивают о доме, а я отвечаю и отвечаю на их вопросы, пока не устану.

— А где это, мамочка?

— Там, где мама жила, когда была маленькой девочкой.

— Но *где*?

— На старой свалке.

(Я люблю на вопросы детей давать точные

ответы.)

— Что такое свалка?

— Такое место, куда складывают всякие никому не нужные гадости.

— И детей тоже?

— Нет, милый. В любом случае свалку засыпали, вы ее даже не увидите.

— Ты имеешь в виду, что она не сможет появиться как привидение, потому что сверху наш дом, как пробка в бутылке, и он крепко ее держит?

Позже

Я прочитала эту страницу Тиму, и его позабавили детские вопросы. Мой милый Тим.

Кстати, Дафне сделают какую-то операцию, чтобы она стала нормальной.

А теперь мне нужно прочитать главу из книги «Плачь, любимая страна» [18], в которой описывается негритянский вопрос в Южной Африке.

---

[18] Примечания: 18

«Плачь, любимая страна» (*Cry the Beloved Country)* — роман Алана Пэйтона, действие которого разворачивается в Южной Африке незадолго до начала апартеида.

32
Дафна

На юге есть место под названием Эрроутаун, где свет застыл бледным золотом на улице с тополями, чьи навеки бледно-золотые листья готовы упасть, но никогда не опадают; и деревья недвижны; и облака, от цвета гелиотропа до белоснежья, словно ягоды акмены обильноцветущей на небесной ветке. И дома там размыты, будто дымом от желтого и синего огня; и люди укутаны и укрыты желтыми и синими облаками. А если вы прислушаетесь, на той улице ничего не услышите, люди там не двигаются, и вы никогда не сможете по ней пройти, если только не разобьете стекло и не пролезете, истекая кровью, обезумевшей близорукой фигурой к картине, висящей на стене комнаты, где живет Дафна.

Картина называется ЭРРОУТАУН ОСЕНЬЮ, С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ.

Достопримечательности — это горы.

Увы, наполовину воображаемые. Больные пишут свои сны на картинах, создавая за желтым и голубым облаком застывший склон мыслей,

чья метель, высвободившись из тишины, вырубленная из сугроба беспробудного сна день за днем, будет лететь, словно лебеди или стрелы, пущенные из пасти желто-голубого облака, чтобы хлестать или петь в безумной ночи четырех стен и мертвой молочной колбы за проволокой.

А утром розовые люди приходят, чтобы отпереть дверь, и пробираются сквозь снег к замерзшим телам, сваливают их на маленькие тележки, украшенные красно-бело-синими флажками и берилловым камнем, и катят на свалку, чтобы разбросать среди тои-тои или сжечь.

33

Сначала, когда мир изменил цвет и форму, и осенью Дафну увезли в Эрроутаун, с достопримечательностями, там ее встретила женщина с седыми волосами, сморщенным лицом и глазами цвета песчаника, которая вывела Дафну из машины скорой помощи и указала на дверь в ванную, где в склоне одной из гор было вычерпано корыто, куда лилась чуть теплая вода.

— Тебе надо принять ванну, — сказала женщина. — Залезай.

Ее звали Флора Норрис; ее лицо было сделано из проволоки венков, маковых и настурциевых, возложенных на могилу воображаемого любовника двадцать лет назад. Она служила в больнице надзирательницей, Главой Достопримечательностей, из которых исключено племя, носившее снежные плащи и совершавшее каждое утро набеги на тополевый мир и сине-желтое облако людей. Но Дафна этого не знала. Она села в ванну и потерла пальцем песчано-каменные глаза надзирательницы. Лежа в корыте, она взяла в руку небольшой торт с кремом, который пах, как стирка, и простыни, пузырящиеся в котле.

— Не ешь. Мойся им, — приказала Флора Норрис.

Дафна натерлась кремом, чтобы смягчить воспаленную кожу в тех местах, где ее поцарапал песчаник и теперь саднило. А потом женщина вылила водопад из баллончика с клизмой на волосы Дафны и сказала:

— Теперь выйди и надень эту ночнушку.

Но сначала:

— Есть шрамы? От каких-нибудь операций? Дай посмотреть.

Она снова ощупала тело Дафны, так что омовение кремом стало бесполезным, однако шрамов, прошитых сосновыми иголками, не нашла; поэтому она натянула что-то квадратное и полосатое, с раскинутыми рукавами, как пустое чучело в ожидании, что его наполнят, над головой Дафны; и розовая женщина, помогавшая ей, подвела Дафну к ряду отсеков, похожих на конюшни, с качающимися дверцами, и резко сказала:

— Идешь или нет? Поторапливайся.

Она сунула голову в дверь и наблюдала, как Дафна усаживается. А потом:

— Готово, — сказала Флора Норрис. — Не забудь вытереться.

И потом:

— А теперь скорее в постель.

Потом она улыбнулась и проволока вокруг ее лица расплавилась и потекла по шее под белую униформу, и она протянула руку, чтобы схватить проволоку и водворить на место, и убрала улыбку.

— Запомни, — строго сказала она, — все хотят тебе помочь. А ты должна с нами сотрудничать и взять себя в руки.

Дафна лежала в постели, ближе всего к камину; с резиновым ковриком, расстеленным под простыней; и Верх, Верх, было написано поперек стеганого одеяла.

Старушка Мать-Настоятельница, проходившая с корзиной белья, полотенец, простыней и наволочек на завтра; ирландка в меховых сапогах на молнии, с морскими глазами и черной бородой с проседью, подошла к подушке Дафны и прошептала:

— Привет, а почему ты молчишь?

— Оставь ее, — сказала сиделка, раскладывая, пересчитывая и помечая одежду Дафны.

— Не трогай ее. Это Дафна. Она слишком больна и не понимает, что ты говоришь.

И Дафна, прислушиваясь, подумала: О, какая наглая ложь. Нисколечко я не больна, просто

меня купали в корыте и пролили на меня водопад, и сосновые иголки выковыривали из моих шрамов, а они истекают невидимой кровью. О, какая наглая ложь. Я немедленно докажу ей, что она неправа.

И она откинула одеяло, свесила ногу на скользкое коричневое зеркало, расстилавшееся, как пол, по всей комнате, и, вскочив с кровати, поспешила за дверь в коридор. А теперь куда?

Но медсестры, трогая и складывая ее одежду в свой чемодан, закричали:

— Взять ее! Взять ее!

И явились пять теней, что поместили ее в домик на склоне горы; а она просила, чтобы ее выпустили, желая лишь стоять на пороге и смотреть на мир, на горечавки и вереск, или проверить, говорит ли Бог,

Блаженны кроткие и нищие духом.

Однако пять теней зашептались за дверью, и шестая прокралась мимо, и вдруг они отворили дверь и схватили Дафну, и понесли в другой дом на склоне горы; там стояло много домиков, все маленькие, из снега и железа; а этот был крепкий, без света, пропах соломой, а в углу круглый резиновый сосуд, похожий на перевернутый цилиндр или на шапочку, которую носит член

кабинета министров; только это был ночной горшок, и одна из теней сказала:

— Используй его, Дафна. Нам нужен образец.

А снаружи на нижних склонах горы сидели овцы, и вздымалось снежное покрывало, и утки взлетали, как радуги, из черных луж долины.

34

И жила там Дафна одна много лет, среди напористых и вкрадчивых звуков в пасмурные дни и ночи без темноты; сначала ферма кричит с холма, лассо животного говора щелкает в утреннем тумане; слух захвачен петлей из лая, кукареканья, визга; и потом крики с другой фермы, из низины, где ряды конюшен, полных дымящегося навоза от глупцов и давно умерших безумцев, любующихся своими ежедневными сокровищами в маленькой комнатке на горе, с четырьмя углами и деревянным окном. И потом борьба за то, чтобы завладеть временем между жалкими тенями нереального солнца, ибо там день есть, хотя его никогда нет.

И свист, сирена звучит в какой-то час, как фабричный гудок, и Дафна вспоминает тополиные утра и их высокую умерщвленную тень, из которой кровь сочится сквозь покрывало листьев, и ледяные жемчужины в сердцевине капусты для королей и королев; и липкий блеск улиточьего следа; и запустелое рваное небо, неуютное, как дешевое хлопчатобумажное одеяло, которое не греет и не спасает от ветра. И фабричные девуш-

ки едут на велосипедах, гонимые южным ветром в свои покои слепоты; но не здесь, Дафна, а здесь, в час сирены, дверь за горной лачугой не заперта, какая-то другая дверь кирпичного дома, где сидят калеки, идиоты и карлики с траурными лицами и пергаментными глазами, и они выходят во двор; они болтают, тараторят и молчат; они знают, что ты им говоришь; они знают, они *понимают*, поэтому они должны работать; и они вприпрыжку или прихрамывая ползут с узлами грязного белья под мышками в прачечную; весь день слушая змеиное шипение пара; гладят, складывают, развешивают одежду; они едят, и их давит каток времени, забирая листы земли, между которыми они лежат, и наволочки сна, на которых покоятся их сердца. Они устали и неутомимы, их лица разгорячены, и они закатывают рукава ситцевых халатов и сидят все вместе вокруг вина и буханок хлеба; посреди утра они пьют свое вино и преломляют свой хлеб и насыщаются. А мужчины рассказывают истории, ходят в докторских пижамах и улыбаются, пожимают руки и кланяются, потому что они боги; но не всегда царит мир, ибо они ссорятся, кричат и дерутся из-за последней буханки хлеба и последнего стакана вина, пока надзирательница не выйдет из своего уютного

уголка со ртом, испачканным мукой и влажным от горячей лепешки; и снова звучит гудок, и калеки начинают свой круговорот беспощадной жадности; и вино и хлеб выплескиваются из бормочущих и молчаливых ртов, и калеки умирают до полуденного возобновления пира, в кирпичном доме на склоне горы. Дафна слышит, как они, шаркая ногами, скуля, возвращаются в свою конуру; а потом благодатная тишина,

Господи, благослови эту пищу.

Рука тишины над их ртами до первого укуса, что принесет мир и войну, пока надзирательница и сиделка перетекают волнами от стола к столу, рассыпая вокруг и соль, и могущество.

После трапезы есть полминуты, чтобы пригладить волосы и вновь сфокусировать иссохшие глаза на тепле и паре; пунктуальная сирена требует, словно шериф, водрузивший в небо обреченное тело давно умершего безумца, продолжить и приятное, и неуклюжее шествие к месту мучений и послеобеденного пиршества и смертей, до ночи без темноты и нового пасмурного дня.

35

И жила там Дафна одна много лет. В горной комнате тихо. Придет ли Тоби, или Фрэнси, или Цыпка, или мать с отцом, которые, словно скульптуры, навсегда замрут на одном и том же месте, а их жизни прорастут сквозь тела, как трава сквозь стареющий памятник? Кто придет в тишину?

Кто-то шевелится в соседней комнате и поет, чтобы проклясть западный ветер и всех людей. Это Мона с оливковой кожей, темными волосами и карими, как потемневшее пиво, глазами. Она хочет, чтобы ей вернули ребенка, чтобы любоваться им, и кормить его, и учить ненавидеть и петь:

Вот так, говорит она, с укулеле или гитарой в руках, а что мне спеть сейчас. Ах!

Солнечная милашка из Австралии,
Как же я в тебя влюблен [19].

А теперь разухабистую, дитя мое, которую твой отец, будь он проклят, пел,

---

[19] Примечания: 19

Песня «Моя солнечная австралийская милашка» (*My Sunny Australian Sweetheart*), впервые исполненная в 1943 г. Бадди Уильямсом.

Я бродяга, я игрок, я от дома далеко,

Если я тебе не люб, мне нет дела до того.

Ем, когда живот пустой, пью, когда просох,

Если спьяну не помру, буду жить, пока не сдох [20].

И затем, на случай, если ее дитя, которого она сейчас держит на руках, чтобы спеть и научить ненавидеть, проголодается, она думает о еде и рассказывает миру со склона горы, но не о молоке, жирном и желтоватом, покрытом пленкой любви, текущем из материнских сосков или коровьего вымени, когда теленок бодается и танцует, безрогий и еще мокрый после рождения, а про *сырные шарики*, как их замешивать, как их готовить…

— Вы пробовали сырные шарики, — кричит Мона. — *Пробовали?* Они хрустят, и соленые, как кровь, смешанная с сыром, старым скисшим молоком, обезжиренным молоком, синим и отверженным, с отбросами любви. *Пробовали?* Кто-нибудь мне ответит?

---

[20] Примечания: 20

Традиционная песня американского Запада «Азартный игрок» (*The Rambling Gambler*), впервые была записана в 1938 г.

Дафна в соседней комнате не отвечает, потому что ждет, когда придет Тоби, или Фрэнси, или Цыпка с маленьким мешочком пшеницы, чтобы делить и делить поровну. Ах, за дверью шаги, глаза мира смотрят в дверную дырку, ключ поворачивается в замке, и вот член белого племени, может быть, вождь, пришел сказать почему, и где, и как.

А потом:

— Теперь. Где ты? — сказал вождь. — Теперь ты знаешь, где ты? Ты давно больна. Какой сейчас месяц и год? Или какой день? Ты знаешь, как тебя зовут?

А потом:

— Почему ты здесь? Ты знаешь, почему ты сюда попала?

И все это время Флора Норрис стояла рядом с ним, сцепив руки за спиной, лицо перерезано проволокой от настурции из ее мечты, губы плотно сжаты, чтобы заключить в тюрьму воображаемый поцелуй тридцатилетней давности.

— Ответь ему, Дафна, — сказала она, разжимая руки без колец на пальцах, пахнущие антисептиком, и соединяя их перед собой, под грудью. — Не бойся. Поговори с ним.

Дафна сидела в углу на соломенном тюфяке,

укрыв ноги углом рваного одеяла; ночная рубашка, полосатая и растянутая, смотрелась на ней, как поблекшая мятная тросточка.

— Ответь ему, Дафна, — снова попросила Флора Норрис.

Дафна ничего не сказала. Про себя она подумала: Они сумасшедшие. Они мошенники. Воры, которые шныряют вокруг днем и ночью своей жизни, обмениваясь поддельными почему, как и где, как фальшивыми алмазами и золотом, чтобы застегнуть их в своем кожаном человеческом мозгу до следующего рейда и насильственного обмена, когда они побренчат глиняными и стеклянными безделушками, не тронутыми солнцем, в руках, и крикнут:

— Кто купит наши ответы, истинное сокровище, кто купит?

Они мошенники, ведь на самом деле как, и где, и кто, и почему находятся в кругу тои-тои, рядом с красиво исписанной бухгалтерской книгой и выброшенными сказками про Тома, сидящего в ухе у лошади; и рядом с солнцем, сияющим сквозь жертвенный огонь, чтобы сделать настоящие алмазы и золото. Мы сидели там, Тоби, Цыпка и Фрэнси, как мир сидит утром, без страха трогая как, почему и где, чудесная драгоценность, кото-

рую я ношу с собой, скользнула в подкладку моего сердца, чтобы спрятаться, потому что я знаю. И Тоби таскает ее туда-сюда по континентам и морям и не понимает этого, хотя она блестит и высекает часть огня, что в нем горит; а Цыпка боится и накрывает ее стиральной машиной, и холодильником, и камином за стеклом.

Все, что за стеклом, ценно.

Так думала Дафна и молчала, а вождь белого племени, который носил очки на носу и росток каучукового дерева в кармане, чтобы подслушивать у подземной двери, как тайком бьется сердце, шагнул вперед и улыбнулся ободряюще.

— Ну же, Дафна, поговори со мной, ты ведь хорошая девочка. Мы сделаем так, что тебе станет лучше. Ты скоро будешь дома.

А Дафна по-прежнему молчала, поэтому вождь попробовал другую тему, забыв как, и почему, и где, но вопросы были те же.

— Как у тебя с пищеварением, — сказал он. — А с водой?

Флора Норрис нетерпеливо дернулась и схватила Дафну за плечи.

— Ты не понимаешь? — сказала она. — С тобой разговаривают.

И тогда Дафна дернулась и ударила Флору Нор-

рис по лицу, поранив руки о колючую проволоку, но все же на мгновение ощутив бархат и теплоту настурции; и, повернувшись к белому вождю, толкнула его назад к двери, так что он, чуть не рухнув, вскрикнул протестующе:

— Ну что же ты, милая.

И, покосившись на Флору Норрис, с любопытством заметив новый цветок, растущий у нее на правой щеке, он прошептал, указывая на Дафну:

— Она буйная. Дайте ей успокоительное.

Флора Норрис, оправившаяся и высохшая, быстро ответила:

— Конечно, доктор.

Оба вышли из комнаты, заперев дверь и заглянув, наконец, глазами мира в дыру в двери, проверяя, не осталось ли следов бури в маленькой горной комнате.

И после того как они ушли, Дафна подкралась к двери и, просунув палец в дырку, ждала там, казалось, много часов, пока кто-нибудь не придет и не повесит ей на палец горечавку, или снежноягодник, или апельсин, или стебелек вереска, сорванный на такой высоте, что там летают певучие жаворонки.

36

Утром в шесть часов, в осенней полутьме, медсестра дала Дафне одежду: пару длинных серых шерстяных носков, напоминающие про Рождество и камин, а Тоби плакал, потому что болел и не мог заглянуть внутрь, чтобы посмотреть подарки; он лежал в постели до тех пор, пока не пришел доктор, который записал код в черной книжке и заказал новый пузырек с таблетками; в постели, с чистой наволочкой и единственной чистой простыней, не то доктор заметит и позвонит санитарному инспектору из телефонной будки на углу, где человек в малиновом пальто и войлочных тапочках разорвал справочник пополам, дважды, чтобы стать чемпионом мира, чемпионом по разрыванию вещей на куски. Есть так много всевозможных чемпионов, что любой может стать одним из них, носить медаль и получить сертификат, свернутый, чтобы его разворачивать и с гордостью показывать затейливую надпись. И когда приходил санитарный инспектор, он выгонял семью из дома, и они сидели в канаве с грошовым коробком спичек, чтобы продать их в снегопад, но никто их не покупал,

и вся семья, мать и отец, и Фрэнси, Тоби, Дафна и Цыпка глазеют на огни в домах богачей и видят пиршество на столе, белую скатерть и горящие свечи на торте.

Да, пара длинных шерстяных носков; и пара штанов.

Только:

— Вот тебе штаны, — сказала медсестра-маори. — И полосатый синий халат, хлопковая рубашка и серая фуфайка.

— Надевай, Дафна. Тебе пора вставать.

Там был двор, полный людей, которые прыгали, и скакали, и танцевали, и плакали, и смеялись, и дрались, и кричали, и умирали. Дафна сидела в углу у стены. Гвозди росли вверху стены, как цветы, только они были бесцветными и причиняли боль, если попытаться через них перелезть.

Дафна все утро просидела в углу и ни с кем не разговаривала, только смотрела на людей, которые прыгали, и скакали, и танцевали, и плакали, и смеялись, и дрались, и кричали, и умирали.

Две девушки, молодые, хотя возраст по лицам уже не понять, близнецы, беззубые, в свои шестнадцать лет ползающие взад и вперед по серому кратеру, их залитые солнцем лица обращены разве что ко времени после Бомбы и к пустоте;

и их глотки булькают и сжимаются от слабоумных речей; и у них большие карие глаза, полные нежности. Варвара и Лейла. Целый день они одеваются и раздеваются, подчиняя одежду и тела друг другу, напевая и завывая из-за своего животного чувства семейной привязанности и судьбы. И медсестра-маори наблюдает, толстая и с неизменной улыбкой, с широко расставленными ногами, большими ступнями, стиснутыми некогда белыми, а теперь желтыми туфлями; с сигаретами в кармане, спичками и ключами; или хмурится и зовет мягким голосом:

— Дамочки из туалета.

И хватает за горловины серые свитеры и людей в них, тащит их к двери, заталкивает внутрь; так, крича на них, насмехаясь над ними, радуясь им, одевая их, как детей, одевает она мир глупых моргающих кукол, способных только вопить мама-мама и мочиться; да пройти полдюжины шагов, без направления и цели; и медсестра-маори с глазами цвета ручья и приплюснутым носом, думает: У меня будет сотня младенцев, и моя бабушка станет их нянчить, эх, под северным солнцем.

Так проходило одно утро, и каждое утро, и день; и проходили вроде люди, становясь нежными и

дружными, как старые луковицы, не обещавшие дать цвет, выброшенные на свалку и утонувшие в грязи и слепоте, чтобы прорасти обособленной группкой темных, трогательных усиков и корней искалеченных цветов: нарцисса, тюльпана и листа крокуса, припорошенного снегом.

И вот ночь. Спальня и застывшие или блуждающие в страхе люди, знающие гору снаружи и бушующие там бури, закутываются в одеяла; все, за исключением Флоренс, которая сидит и расчесывает волосы, называемые серебристыми, спрятанные весь день под красным и синим носовым платком, повязанным на голову; Флоренс говорила о местах на севере и о том, что она там одна сирота, с двухлетнего возраста работает в городских пабах, разливая пиво для грубых и бородатых мужчин; как она, двухлетняя, садится на трамвай в город, пробирается сквозь толпу, но путешествует бесплатно, потому что она Флоренс, двухлетняя, работает официанткой в пабе. И Флоренс, сбрасывающей чары со своих волос до талии и называемых серебристыми, все верят, и никто над ней не смеется и не противоречит ее мечте; как и мечте любого другого человека, кроме жестоких и непристойных, который носит свою мечту, как нежность внутри сердца, чтобы

ее согреть, но не делиться.

И серый кратер давно умершего безумца лежит пустым, готовый наполниться множеством истин.

37

В то самое время, когда Боб Уизерс бил куклу-преступника, а Питер Харлоу рождественским утром спрашивал: Кто гасит солнце? — на горе, где жила Дафна, тоже было Рождество.

Рождество с сосной, на третий день умершей, поставленной в комнате отдыха в углу и увешанной колокольчиками и звездами, хотя все из бумаги, но она сверкает и *верится*, что это звезды; и кукольный ангел наверху, с нарисованными голубыми глазами и светлыми волосами, и в вычурном серебряном балетном платье, как положено ангелу. Серпантин всех цветов вился по комнате, по горам, по Достопримечательностям, по стволам тополей и обратно.

И посылки, приходящие из ниоткуда, с пирожными, как Эверест, которые немедленно очищают от снега танцующие и ликующие люди в комнате отдыха; и черная почва торта развернута, раскрошена и намочена, но добыта из смородины, кишмиша и кристаллов вишни. И бутылки шипучки, выпитые через две или три соломинки, и ужасный выбор между малиной и апельсином, кровью и солнцем. И ночь колядок с

улыбающимся и подобревшим белым племенем, вождь любезен, уже не в белом, а в полосатом темно-синем костюме и при зеленом галстуке, как положено вождю со склона горы на Рождество. И день с мужчиной в красном и ватном, жуликом, как говорят в мире, ряженым, санитаром в черном костюме и брюках без манжет и с сильными руками, чтобы хватать растерянных людей на другой стороне горы; а здесь он настоящий, зовется Санта-Клаусом, улыбается и дарит подарки: духи, пудру, белье, а старушкам пластиковый фартук с одинаковым узором — красная птичка, летящая куда-то по зеленому небу. Вождь и его коллеги-вожди все благожелательные, снисходительные и улыбчивые. И Флора Норрис стоит между двумя вождями и объясняет, и показывает на людей, и улыбается, когда Дафна с одним подарком в руке возвращается к Санте за другим — а почему бы и нет. Однако Санта с застывшей улыбкой и разгоряченным лицом, уже усталым, говорит резко:

— Нет-нет. Не надо жадничать.

Дафна стоит удивленная и пристыженная, полуобернувшись, чтобы пойти на свое место в углу, хотя ее другая рука все еще протянута, не за брюками или нижней юбкой с голубыми лентами,

или тальком, или салфетками, которые подарили остальным; не за розовато-лиловой коробкой с лавандовым мылом, четыре лепешки которого лежат, туго стянутые целлофаном, и которое она держит в руке, а за чем-то другим, она не может точно сказать название, не может описать ни формы, ни размера, но она хочет этого, нуждается в этом и ждет, пока Санта, красно-белый Бог, стоящий посреди комнаты перед ангелом и деревом, поймет ее нужду. А он вытягивает свою человеческую шею из тяжелого кровавого халата и хмурится в досаде и нетерпении.

— Не жадничай.

Он запинается на ее имени, глядит на Флору Норрис, которая произносит его быстро и аккуратно, обращаясь с ним, как с прокомпостированным билетом.

— Дафна Уизерс.

— Не жадничай, Дафна. Уходи.

И видя, что красно-белый Бог вовсе не Бог, и нет ни подарка, ни Рождества, Дафна начинает тихонько плакать и бросает открытую коробку с мылом в ватного Бога. Крышка коробки отваливается, и мыло падает; комната наполняется, дышит Традиционной английской лавандой, и Санта чихает от резкого дешевого запаха, и Фло-

ра Норрис, униженная перед вождями, подает сигнал медсестре, чтобы та увела Дафну и унесла ее лавандовое мыло, чтобы запереть под замок.

— Жадность, просто жадность, — объясняет Флора высшему вождю.

— Вот такие люди портят весь день.

Вождь кивает, вдыхая увядающий запах лаванды и еще один запах, которого раньше никто не замечал. Флора что-то торопливо шепчет ближайшей из медсестер, которая уводит одного пациента, другого и третьего, все сжимают свои салфетки и фартуки, и пудру (сиреневую и розовую), быстро, в ванную. И Рождество закончилось, или никогда не существовало, и ангел на самой высокой ветке мертвого дерева становится куклой-кинозвездой из «Вулвортс». И три мудреца, которые шли не за той звездой, сидят на другой стороне горы, в маленьких комнатах с высокими окнами и запертыми дверями, где они дремлют, мечтая о конце пути, или просыпаются, проклиная свою глухоту к человеческому компасу, и где рука звезды указывает им дорогу.

38

Вскоре после Рождества наступило время пикника. Рождество только что похоронили, могилу засыпали, и никто, ни под солнцем, ни в темноте не обнаружил, что камень откатился.

Пикник назначили на воскресенье.

— При условии, что погода не испортится, — сказала Флора Норрис, советуясь с палатной сестрой в маленькой тесной комнате, которая служила кабинетом Флоры и частью ее квартиры. Другого жилья она не имела, а кроме того, здесь в ее распоряжении пациенты, которые заправляют ей постель, подметают ее комнату, наводят порядок на ее туалетном столике и приносят ей еду и бумаги; и полируют мебель, и расставляют цветы, собранные в палисаднике; а еще она будто добровольно сидела в тюрьме и находилась в каком-то бесконечном и раздражающем плену, а когда наступал месячный отпуск, она нервничала, потому что за пределами тюрьмы идти ей было некуда. И порой она задавалась вопросом: А что будет, когда я выйду на пенсию? Что тогда? Денег у меня достаточно, конечно, но своего угла нет. Или что будет, если я сойду с ума? Других

увозят на север, а если это случится со мной?

Затем, чтобы побороть страхи и успокоиться, она прогуливалась по больнице, где медсестры открывали перед ней двери и вытягивались по стойке смирно, и испуганные, сбитые с толку молодые врачи спрашивали у нее совета, и кухарка обещала приготовить ей к послеобеденному чаю кремовые пирожные с начинкой из фермерских сливок. Она посещала каждую палату и, если наступало время обеда, разделывала жареную баранину в среду или помогала разносить бельгийские колбаски в воскресенье, или смотрела, как во вторник и в пятницу на тарелки раскладывали сервелат. И хотя ее не везли в колеснице, запряженной шестеркой лошадей, серых в яблоках, и она не ступала по бархатному ковру, расстеленному для нее от палаты к палате, и она не кланялась и не улыбалась, легко взмахивая рукой замершей в почтении толпе, она могла бы стать королевой; тогда она забыла бы свое несчастье и, вспоминая поцелуй тридцатилетней давности и проволоку с могилы возлюбленного, она улыбнулась бы, как тающая настурция: тогда в ее власти было бы сорвать с себя улыбку, выбросить увядший цветок и вновь смотать в катушку проволоку, плотно сидящую под кожей,

которую каждую ночь баловали «Делицией Скин Фуд» для тех, кому за тридцать — насколько далеко за тридцать, Флора Норрис не признается, однако каждую ночь она лежит с белой маслянистой маской на лице, на вечно перепачканной и пропахшей кремом подушке, и полчаса держит на веках теплые ватные шарики, смоченные в масле. Лежит и смотрит через зарешеченное окно на шиферную крышу мужской стороны горы, на их огромную пустую столовую с длинными, вычищенными и покрытыми шрамами столами, и на пол из линолеума, где каждый день пациент с разинутым по-дурацки ртом, полным слюны, таскает электрическую машину, которая полирует, вращается, скулит, угрожает; бунт против стирания следов ежедневного человеческого присутствия или против укоренившейся ежегодной пытки бесцельного хождения.

К пикнику все как будто готово. Избранные пациентки, причесанные и задобренные конфетами, сидели, как разодетые и мертвые рождественские куклы, у окна в мир, чтобы кто-то выбрал их и повернул ключ, вернув способность ходить, говорить, танцевать и жить. На губах у них помада из косметички, хранившейся в смотровой, между склянками с мочой и ядом; там

же, где хранился и сплющенный аппендикс, как листок, вложенный между страницами семейной Библии или «Мыслей о сумрачных днях». И на них румяна, пудра и крем для лица, у всех одни и те же, потому что, думали Флора Норрис и сестра Даллинг, это первый шаг к нормальной жизни; и как только они поймут, что, из какой баночки и куда наносить, они устремятся, как выразился один из вождей по рации, «к здравомыслию и к истинным ценностям цивилизации».

Таким образом, женщины были подготовлены. И одеты нарядно, потому что ехали в автобусе, а в задней части автобуса, где хранится багаж, Флора Норрис и сестра Даллинг сложили кучу вкусной еды: бутерброды, паштет, помидоры и мясо — уже близкое к тому, чтобы стать испорченным; и соленья; почему так много бутербродов на двадцать человек, не считая водителя автобуса, и санитара, который разведет огонь и пригодится на случай буйного поведения, и сиделки, и сестры Даллинг, почему так много бутербродов, что пациенты могли бы разложить их, как белые и серые хлебные плитки, сделав дорожку, чтобы куда-нибудь пойти, если бы нашлось в мире место, куда они могли бы отправиться.

Так они сидели, пока для них не подготовили

автобус, пузатый и наглый, и они влились внутрь, как летний ветерок и жидкая глазурь; и сидели, озираясь кругом и трясясь от страха, и нюхая моторное масло, и поглаживая кожу сидений, и открывая, и закрывая, и снова открывая окна; и подпрыгивая; и глядя на других людей, которые и не думали идти на пикник, ведь у пациентов, которые будут обедать в палате, день точно такой же, как всегда, полдник во дворе, а потом чай, все то же, все то же, и они лягут в постель раздетыми, одежду завязать в узел рукавом серого пуловера и положить за дверь. Хотя может случиться так, что после полудня сиделка выбросит из окна во двор леденцы, и возникнет свалка, которая закончится дракой и плачем, поскольку некоторые умеют хватать быстрее, чем другие.

И пока они сидели и смотрели в окна автобуса на людей без пикника, Нгайре, одетая в синее, с голубым бантом в волосах, выглядевшая очень модно, вдруг закричала на людей без пикника, а потом снова закричала, и еще, и заколотила в окно автобуса, так как испугалась, потому что все было странно, ведь ее одели в странное синее платье и повязали голубую ленту. И санитар целеустремленно поспешил к ней, и ее вывели из автобуса, быстро вывели, и обратно в комнату

отдыха, где она смотрела в окно с тоской, как одна из оставшихся; и теперь в ее мире нет ничего неизвестного, нет странного места, куда можно было бы отправиться и поесть под странными деревьями, и нет обнаженного неба рядом с призрачным и вечным ледяным ручьем.

Флора Норрис, внимательно наблюдавшая и готовая в любую секунду попрощаться с пикником, сказала:

— Ну вот. Значит, свободное место. Кто поедет вместо Нгайре? Кто достаточно здоров, чтобы поехать?

И сестра Даллинг, одетая в темно-синее платье в белый горох, в соломенной шляпе от солнца и в сандалиях, выглядевшая очень по-летнему, тоже сказала:

— Ну вот. Желающих нет.

— А Дафна? — предложила Флора.

— Ну, если хотите, пусть, — сказала сестра Даллинг.

Они привели Дафну, одели ее и вытащили из маленькой хижины на склоне горы под солнечный свет, и усадили в чрево красно-золотого чудовища, которое мурлыкало, трясясь и подпрыгивая; а позже, вдоль холмов, скулило и плакало, направляясь на пикник. И сестра Даллинг два-

жды прошлась по автобусу, протягивая коробку из-под печенья, наполненную сладостями, и великодушно говоря:

— Брать по одной.

Дафна съела лакричный мармелад, отделив ребристую ночь от желтого, синего и розового дня, и высосала все без остатка, в то время как автобус стонал и потел.

— Пикник, пикник, — кричали некоторые пациентки,

— Пикник. А где?

Сестра Даллинг не ответила. Ей не разрешали говорить. Это был секрет, как и все пикники, на случай если мир узнает, куда они направляются, и пойдет за ними, чтобы подсматривать и смеяться; и, возможно, даже сейчас мир слушает, так что сестра Даллинг не сказала, где.

— Это сюрприз, — сказала она.

— Но *где*?

— Кое-где, *кое-где*.

Они прибыли на место, к белой мануке, к запруде из коричневого льда и холмам из зеленого железа; с облаком, пересекающим солнце, чтобы спустить на пикник серебряный дождик, как новую булавку, которую нужно подобрать, позже, при солнечном свете на опустевшей поляне, усы-

панной углями от старых костров, и вчерашней бумагой, и бутылками, и банками от сардин.

— Ура! Ура! — кричали мертвецы, пробуя солнце и белую мануку, и если там и была тьма, то она свернулась и опала, когда скатерть, словно белый солнечный свет, расстелилась на земле, чтобы все могли пировать.

— А как же чай, чай! — сказал санитар, разводивший огонь.

— Мы забыли взять чай.

Он держал банку с кипятком и ждал. Он был прав. Чай забыли. Но высоко на холме стоял фермерский дом, и, как сказала сестра Даллинг:

— Некоторые могут поплавать в реке, пока Медсестра с пациенткой сходят купить чай на ферме. Наверняка нам дадут чаю.

Итак, Медсестра взяла Дафну, которая вела себя тихо, никого не била и не хватала еду раньше времени, и они попрощались — или, скорее, Медсестра попрощалась, подняв пустую банку и сказав:

— Мы вернемся с чаем.

Сестра Даллинг и санитар помахали им на прощание и посмотрели друг на друга, и на толпу сумасшедших вокруг, и увидели, как они стоят счастливые, изумленные, упиваясь дневным

светом, который безудержно лился в их бесчувственные глотки. И сестра Даллинг пожала плечами и сказала:

— За каплю цивилизации на этом безумном сборище я бы чего только не отдала. Эх, за чашечку хорошего крепкого чая!

Санитар глядел лукаво и думал, чего бы лучше выпить, он чуть не прихватил с собой фляжку, собираясь на пикник, но знал, если его поймают, он лишится работы; так что он согласился с сестрой Даллинг:

— Да, хорошая чашка чая все исправит. Эта банда действует на нервы. Я всегда опасаюсь, как бы они чего не выкинули, когда выходят вот так, одетые будто нормальные люди. Я покурю в автобусе, подальше отсюда.

— Держите ухо востро, — сказала сестра Даллинг.

— О, не сомневайтесь.

Так он сидел в автобусе, и пациентки видели его во всем величии, сидящего в одиночестве и никуда не едущего; в то время как сестра Даллинг и несколько пациенток спрятались за кустами, чтобы надеть принесенные с собой купальные костюмы, у сестры был свой, а не казенный, как у пациенток; ее изящный костюм состоял из двух

частей, не спускался ниже колен и не пестрел дырочками от моли.

Задыхаясь и дрожа, они на цыпочках вошли в воду, сложив руки на груди, крест-накрест, как лежат мертвые, когда им в руку кладут лилии.

— Ой, холодно, холодно! — кричали они.

Они сначала шли по бурому льду, искря от внезапного приключения, а затем под ним, пригнувшись, ступнями натирая зеленые скользкие камни, и их волосы плыли, как водоросли, спутанные и пахнущие теперь старыми бревнами, и овечьими копытами, и землей. А сестра Даллинг превратилась в богиню. Если она двигалась или, не умея плавать, била руками по воде, пациентки глазели или кричали в запале удивления:

— Посмотрите на нее! Посмотрите на нее!

Ибо она была богиней, ей нужно преклоняться и повиноваться, и на суше благодаря ее белой форме, и в воде, благодаря ее телу, полному и веснушчатому, которое, как белое в крапинку тесто шлепается и колышется в гигантской чаше коричневого льда и вина.

Высоко наверху, на дороге, ведущей к ферме, Дафна и Медсестра остановились, чтобы отдохнуть и посмотреть на пикник.

— Купаются, — сказала Медсестра. — Смотри.

Там дождь идет.

Шел еще один дождик для пикника, неспешно, как напоминание о серебре, а далеко внизу люди, прыгающие и танцующие в воде, казались каплями ртути, которые обрели формы и голоса, но все еще мечутся и вспыхивают, чтобы избежать последнего прикосновения или смерти человеческого бытия.

Ферма стояла за углом, в тени елей. Маленькая, собственно, и не ферма вовсе, с участком земли, огороженным кольями, которые накренились в дальней части, где стояла черная длинномордая корова, безрогая, жуя жвачку машинально и беззаботно, как будто жвачка проглатывалась и возвращалась, проглатывалась и возвращалась по нажатию кнопки, как теплая круглая монета, опущенная в телефонную щель.

— Подожди здесь, — сказала Медсестра Дафне. — Я спрошу про чай.

Она постучала в дверь фермы и стала ждать.

Они прислушивались в ожидании шагов или какого-то другого звука: кашля, или разговора, или шороха, — но не услышали ничего, только одинокую волну отчаяния, которую испускают ели не из-за ветра или бури, а от какой-то смерти или внутреннего одиночества. Воздух был

неподвижен, если не считать мягкой струйки туманного дождя, спускавшегося то на холм, то на долину.

Никто не подошел к двери, и Медсестра снова постучала, махнув Дафне, чтобы держалась подальше от тени, на случай если кто-нибудь придет, увидит ее и все поймет, ведь любой дурак догадается по этим вытаращенным глазам, подумала Медсестра. Поэтому:

— Держись подальше, — предупредила она Дафну.

И снова постучала. Затем в нетерпении повернула ручку двери и вошла.

— Идем, — сказала она Дафне. — Мы возьмем чай и оставим деньги. Они поймут.

Но в комнате не было мебели, и шкафы были пусты, и ни в одной из комнат не нашлось ни единой вещи, словно там никто не жил.

— Какая прелесть! — воскликнула Медсестра. — Вот тебе и купили чаю. Столько сюда шли, и все зря! А как же корова, и куры на заднем дворе, и сад? Здесь должен кто-то жить.

Она снова прошлась по дому, открывая тумбочки и платяные шкафы.

— Странно, — сказала она. — Пыли нет, а люди как будто исчезли.

Сумасшедший дом, подумала она; возможно, сумасшедший сможет все объяснить.

— А ты что думаешь, Дафна?

Дафна не ответила, но подумала: Если я проеду сто миль, чтобы найти сокровище, я найду сокровище. Если я проеду сто миль, чтобы ничего не найти, даже если я возьму с собой деньги, я ничего не найду.

В общем, на пикнике пировали без чая, что очень раздражало и медсестру, и санитара, и водителя автобуса, и сестру Даллинг. Только пациенткам было все равно, они пили солнце и коричневый лед, пусть даже с привкусом овечьих копыт и старых бревен. А потом пришло время, и большое солнечное полотно встряхнули, избавляясь от крошек, свернули и упаковали, и пациенты, полные шипучих пузырьков и неба, забрались в автобус, который по дороге домой снова потел и скулил, оставив позади и пикниковый дождь, и долину, и гору, и черную длинномордую корову, теперь грустную, потому что никто не пришел ее доить, и она вздыхала не из-за ветра или бури, а лишь от собственной печали.

39

Год Рождества и пикника выдался запутанным и странным, не похожим ни на какой другой год с Рождеством или пикником; во-первых, оба они были смертельно белыми, как вата фальшивого рождения, а цветок мануки нигде не закрепился, и ни один мир не мог следовать за ним. И в том же году, в зимнее время, состоялись танцы, на которых мужчин с той стороны горы призывали веселиться вместе с женщинами с *их* стороны горы, а вождь Флора Норрис и сестра Даллинг смотрели, приговаривая:

— Танцуй, танцуй. Вставай и танцуй. Как ты думаешь, для чего мы устраиваем танцы, если ты не танцуешь?

Так что пациенты танцевали по приказу, и женщины разоделись, как истинные леди, в те же яркие платья для пикника, хотя стоял июнь, когда ночь липла к оконным стеклам еще до захода солнца, а оштукатуренные стены комнат покрывались каплями воды или сыростью, как выражалась Флора Норрис.

— Смотрите, доктор, в комнатах сыро. Мы должны на это указать.

А вождь кивал и отвечал, что, конечно, он на это укажет, или запишет, или передаст тому, кто передаст его в надлежащую инстанцию.

Несомненно.

Да, стоял июнь, когда они плясали, когда в мире, как известно вам, в нем живущим, барышни примеряют платья на выход; и выбирают длинные перчатки; и в перерывах между разговорами о зубрежке и учителе музыки готовятся посетить свой первый настоящий бал и быть представленными епископу, или генерал-губернатору, или местному члену парламента, или еще кому-то, кто обладает достоинством и положением в обществе. Ах, июнь — время романтики, как бы ни были холодны скамейки в парке, или песчаные дюны и люпины, или сад, в котором теперь нет беседки, а есть маленький зеленый гномик, не предлагающий ни тени, ни даже сочувствия.

Мужчины в горном мире весь день готовились к вечерним танцам. Многие помылись, ради этого выстроившись в очередь у ванной комнаты и, получив соответствующее предупреждение, старались не тратить воду попусту; других помыли насильно, при этом санитар быстро окунал их в воду и тут же вытаскивал, затем надевал на них чистую одежду, чтобы они пахли лучше, чем

после целого дня работы в саду и на ферме с коровами и свиньями, или после того, как сгребали уголь или сортировали грязное белье. Когда в час дня открылась столовая, те, кто мог освободиться от работы, пришли купить масло и крем для волос, или, может быть, новый галстук-бабочку с небольшой хитростью, потому что с ним не нужно бороться, достаточно просто прикрепить булавкой; или новый носовой платок, или ручку, чтобы положить в карман, как будто они работали в каком-нибудь офисе, а не были пациентами лечебницы. Так что, когда подошло время танцев, которые ожидались с шести до десяти часов, из города приехала группа и музыканты, лощеные, во фраках, сидели на сцене, ждали, перешептывались, улыбались, веселились. И женщины сидели на длинных скамейках у одной стены, а мужчины на длинных скамейках у другой стены, а между ними был начищенный пол, и повсюду пахло духами, тальком и маслом для волос, а медсестры, и Флора Норрис, и старшие вожди сидели на стульях с красной бархатной обивкой, наблюдая и показывая пальцем.

Когда начался первый танец, медсестры ходили взад-вперед по стене с женской стороны, а санитары — с мужской, приговаривая:

— Танцуй. Танцуй. Давай, вставай и танцуй!

Так что они танцевали, как настоящие леди и джентльмены, за исключением того, что мужчины потели, пахли и держались слишком близко, а женщины забывали слушать музыку, наступали партнерам на ноги, и никто не извинялся, а вместо этого все смеялись и говорили:

— Поделом.

Так они плясали, или шагали, или прыгали, или кружились на одном месте, и хотя все время раздавались шутки, а после был вкусный ужин, никто не станет отрицать, что среди пациентов царили отчаяние и замешательство. Музыканты то и дело бросались к задней части сцены, чтобы выпить виски, и возвращались, полные задора, чтобы играть еще энергичнее танго или фокстрот, и пианист подпрыгивал у своего фортепиано, выводя горячий ритм.

Ровно в десять с людей сняли наряды и швырнули обратно в пепел, и ни одна женщина не оставила на танцполе изящную розовую туфельку из атласа или бусин, чтобы ее нашел принц, да и принца ни одного не обнаружилось. В комнате было пусто, душно и пахло табаком.

— Ради всего святого, откройте окно, — сказала Флора Норрис.

Нет, на полу не лежала волшебная туфелька. А если бы лежала, представьте себе волнение, с которым спорили бы Флора Норрис, сестра Даллинг и медсестры, говоря:

— Она моя, моя, она мне впору, смотрите.

Не ведая, что ради великолепия этой туфельки им придется отрубить себе пятку благоразумия, и хлынет кровь, и они завопят от муки.

40

На следующий день после странного времени, проведенного среди сухих бобов в золе, за подсчетами: два и два будет пять, в дверь горной комнаты Дафны заглянула медсестра и, увидев Дафну спокойно сидящей на соломенном матрасе, открыла дверь.

— Дафна, — сказала она.

Это была медсестра-маори с пакетом ирисок в кармане. Она дала Дафне ириску.

— Вот, лови. Пойдем со мной, Дафна, тебя вызывает надзирательница.

Она отвела Дафну в кабинет, где за столом сидела надзирательница, возясь с картами, книгами и открытыми посылками.

— Ах, Дафна, дорогая.

Надзирательница выкатила из угла ширму, которая скользила по полу на колесиках и была украшена узором из роз и розовых листьев, по две розы на каждую створку ширмы.

— Для большей конфиденциальности, — объяснила Флора Норрис. — Подождите там, сестра, на случай, если вы понадобитесь.

Флора Норрис, казалось, хотела добиться сек-

ретности.

Она протянула руку и тронула Дафну за плечо. Девушка вздрогнула и отпрянула к двери, а Флора Норрис подошла, мрачная, словно ее показывали крупным планом, с вытянутой рукой и пальцами, свисающими, как сосульки.

— Ну, Дафна, рано или поздно с нами что-то случается, понимаешь, и мы вынуждены терпеть, верно?

Дафна не ответила. Она рвала гигантские розы в клочья и бросала лепестки в лицо Флоры Норрис, каждый лепесток разрезал кожу надзирательницы так, что хлестала кровь, чтобы настоящая роза расцвела на ширме, которая больше не казалась ширмой, потому что скрылась позади, хотя кто мог ее искать и зачем, кроме Бога, который может быть, а может и не быть дома. Ах, подумала Дафна, что мне скажет надзирательница?

— Ты слушаешь, Дафна? Мы вынуждены терпеть.

Дафна лукаво взглянула на нее и улыбнулась, поняв, что именно Флора Норрис хочет сказать ей за ширмой. Смерть. Надо прятаться за ширму, чтобы говорить о смерти, так же как стыдливо закрываешь лицо платком, чтобы скрыть слезы. Дафна знала, речь о смерти, ее мать умерла, и она

ждала, что скажет ей надзирательница.

— Да, Дафна, такое со всеми происходит, и мы должны быть очень, очень храбрыми.

Почему я говорю как священник, подумала Флора Норрис. Я говорю с полоумной, умалишенной, хотя сейчас этого термина официально не употребляют. Едва ли она может понять, что я ей говорю, а уже почти время утреннего чая, и я страсть как хочу чашку чая и пирожное со сливками. Я почти не спала из-за этих танцев, из-за которых столько мороки, с подготовкой и суетой вечером, чтобы вернуть их в свои палаты и раздеть, а затем, во время обхода, я видела женщин, нарумяненных и напудренных, неумытых, сидящих в постели, как горгульи, и ночь текла по их лицам, а сон застилал глаза. О черт.

— Дафна, пришла телеграмма. Прошлой ночью умерла твоя мать. Мирно. Все хорошо.

На всякий случай она подала сигнал медсестре быть наготове. Дафна улыбнулась и станцевала фокстрот, или вальс судьбы, или максину, которую, по словам Фрэнси, танцуешь, когда сердца бьются в такт. Так максина или судьба? Или фокстрот? Дафна не могла вспомнить. Она знала, что был какой-то танец, но не могла вспомнить; и она отодвинула всемогущие розы и ширму так,

чтобы Бог мог видеть, и исполнила свой танец под музыку прямо в кабинете, а затем вышла за дверь, пока Флора Норрис звонила.

— Сестра! Сестра! О чем вы только думаете? Заберите ее, заберите, она в отчаянии.

Дафну схватили во время последнего фокстрота, она даже не подобрала упавшую атласную туфельку, когда ее спешно увели в горную комнату, где оставили одну, под проливным дождем, без пальто, а ее мать тревожно звала от двери,

— Дафна! Дафна! Ты замерзнешь насмерть. Выйди из-под дождя.

А потом ее мать запела песню, которую знали все — Фрэнси, Дафна, Тоби и Цыпка, наполовину прорыдав ее так, что песня казалась трагичной и ужасной:

Спускайся, озорная птичка,
Дождь идет, спускайся к нам,
Что на это скажет мама,
Если ты погибнешь там?
Непослушная ты птичка,
Ну, спустись ко мне скорей,
До тебя мне дела нету,
Отвечает воробей.

41

Дафна провела много дней в горной комнате, в то время как снег падал снаружи шорохом и шелестом белого, а белоглазки с крошечными стебельками костей сидели на вереске и раскачивались взад и вперед зелено-желтым облаком. И вот однажды дверь открыл человек, которого называли доктором, из племени врачей в белом, кружащихся вокруг вождя, как карусели вокруг высокого белого шеста, отдающего команды, и мы пойдем на представление, да, мы пойдем, Фрэнси, Тоби и Цыпка, только после свалки; посмотреть на толстую женщину с пятнадцатью мужчинами, вынужденными носить ее туда-сюда по сцене, и на карлика, который живет в кукольном домике, готовит еду на крошечной электрической плите и спит на дубовой кровати, покрытой розовым оборчатым пуховым одеялом, сделанным из перьев — кажется, дикого лебедя, летевшего один год и один день через снег во дворец. Нет, я не выдумываю, это правда. Мы пойдем на представление и будем бросать шарики, чтобы сбить с полки человечка или игрушечную собачку, которую завернет в серебристую и синюю

бумагу и протянет нам конферансье, пахнущий матрасным тиком, самогоном и внутренностями резиновых сапог.

— Ах, — вежливо сказал доктор. — Позволите войти?

Он мог бы не притворяться, ведь медсестра открыла дверь, чтобы его впустить, и ему бы никто не помешал. Он подошел к Дафне, что уютно устроилась под одеялами в углу. Ночной горшок был полон и накрыт страницей из журнала, который Оливия, богиня, просунула в дверную дырку.

На странице написано: Затерянная плантация. Глава пятая этой захватывающей новеллы о силе и страсти. Затем мелким шрифтом: Продолжение.

Здесь рассказывалось о графине, которая уехала поправлять здоровье на чайную плантацию, принадлежащую ее кузену, на Цейлоне, чтобы обнаружить кузена мертвым и узурпатора, загорелого миллионера по имени Джеральд Уиттакер, безжалостно командующего плантацией. Так было написано на странице журнала, закрывавшей горшок, но доктор даже не взглянул на нее.

Он улыбнулся Дафне.

— Ну и как Дафна сегодня?

Дафна не ответила. Доктор потер руки.

— Мы сегодня чувствуем себя немного лучше, правда?

Потом он подался вперед, словно собираясь выдать какой-то секрет, и сказал:

— Может, Дафне хочется что-нибудь смастерить, связать шарф или сплести корзинку, разве не хотелось бы Дафне что-нибудь смастерить и ходить на занятия в парк с другими людьми; и вязать, и ткать, и шить, а не сидеть тут одной целый день, ни с кем не перекинувшись и словом?

Дафна не ответила, поэтому доктор повернулся к медсестре и сказал:

— Думаю, мы попробуем какое-нибудь рукоделие. Займет ее мысли, пока мы все не устроим.

Однако там было похоже на шерстяные фабрики, и Дафна закричала, увидев груды шерсти и людей в полузабытьи, собирающих нити, похожие на красных и желтых червей, и шьющих, и втыкающих иголки в полотно, вышивающих розу, потому что, видимо, повсюду существовало правило, что розы больше не растут в садах, а растут на скатертях, подушках, каминных экранах и ковриках, где красные и зеленые шерстяные черви пронзают их лепестки и разъедают их сердце, словно рак. Итак, комнату наполняли

розы и шерсть, а люди собирали, разбирали, протыкали, сшивали, ткали. Ножницы хранились на специальном столе, и нужно было получить разрешение, чтобы прикасаться к ним, держать их и пользоваться ими, с медсестрой рядом на случай, если кто-то вздумает отрезать общепризнанное и надежное сокровище реального мира, оставив докторов, медсестер, клерков, официантов, продавцов, членов кабинета министров и всех прочих в растерянности, отсеченными и цепляющимися за невразумительный узор сна. Так что приходилось за всеми следить. Но Дафна закричала на шерсть, поэтому ее посадили в угол, в тишину за окном, а мать дала ей смазанную маслом оладью с малиновым вареньем сверху и пообещала еще одну, если будет сидеть спокойно и вести себя хорошо.

Время близилось к обеду, когда дверь рабочего кабинета открылась, и внутрь, прихрамывая, вошла женщина. На ней был белый халат, а под мышкой она держала сверток, завернутый в белую ткань. Она подошла к сиделке и что-то шепнула, а сиделка подошла к швее и ей что-то шепнула. Все держали в секрете. Тогда женщина с волосами цвета старой глины и белым свертком под мышкой подошла к Дафне и взяла ее за руку.

— Пойдем со мной, милая.

Но зачем?

Дафна не хотела идти. Она сидела тихо, смотрела, улыбалась и ждала, когда мама принесет ей очередную горячую оладью с черносмородиновым джемом вместо малинового. Тогда, возможно, она отправится с Тоби на свалку, где они найдут сокровища, и напишут по дороге свои имена на стене мельницы, или посмотрят, как мешки с мукой спускаются по желобу, и будут гадать: Что, если бы мы стояли внизу, что тогда?

— Пойдем, Дафна.

Хромая женщина взялась за одну руку Дафны, а сиделка взялась за другую.

Но зачем?

Они привели ее в комнату, блестящую, чистую и белую, как кухня, и усадили на стул посреди комнаты, а хромающая женщина с левой пяткой толще правой и темной, как кусок лакрицы, развернула свой сверток на столе, осторожно, будто там что-то драгоценное, но зачем? Это всего лишь кусок ткани, парикмахерские ножницы и еще один кусок ткани, похожий на белый поднос для чая. Затем прихрамывающая женщина, которую сиделка назвала миссис Флэгирон, накинула на плечи Дафны пластиковую накидку и стала ее

стричь, пока пол не покрылся волосами, а миссис Флэгирон будто не планировала останавливаться. Один раз Дафна потянулась, чтобы пощупать, сколько волос осталось, но миссис Флэгирон схватила ее руку и сунула назад под накидку.

— Она догадывается, — прошептала миссис Флэгирон сиделке.

Дафна сидела неподвижно, ожидая, пока хромая женщина закончит, и думая: Эта женщина из Греции. Нет, из подземного мира. По ее толстым рукам ясно, что она переплыла множество рек подземного мира, срезая волосы с плавающих тел и собирая их в свой чистый белый сверток, и храня их в своем доме, в котором много-много комнат, а использовать она может только одну, и скоро ей будет негде жить, потому что все комнаты заполнятся волосами. Я знаю. Я знаю.

Дафна снова дернулась, и снова миссис Флэгирон схватила ее за руку и прошептала медсестре:

— Она догадывается.

И когда пришло время хромой женщине закончить и встряхнуть пластиковую накидку с оборками, и натереть благоухающим маслом волосы Дафны, и найти ручное зеркало, чтобы вручить Дафне и сказать с довольной улыбкой:

— Ну, как считаете, вам идет? Знаете, сейчас

такую прическу носят вот так,

или так,

или так,

или

— Как думаете, может, снять чуть больше с этой стороны? Или наоборот? Или вы предпочитаете конусообразную форму, или под пуделя, или ежик?

В общем, когда пришло время хромой женщине дать Дафне зеркало, и спросить ее мнение, и порекомендовать что-нибудь для сухой кожи головы или восстановления волос, миссис Флэгирон не рекомендовала и не спрашивала мнение. Она просто убрала с Дафны все волосы и для верности еще обрила Дафне макушку.

Взглянуть на себя в зеркало ей тоже не дали.

— А теперь, — сказала миссис Флэгирон, — мы наденем эту косынку.

И она надела Дафне на голову кусок ткани, как чехол на чайник; и нашла щетку, и смела волосы, и собрала свой сверток, и ушла, прихрамывая на лакричную ногу, и Дафна больше никогда ее не видела.

В тот же день доктор снова пришел к Дафне. Он был очень весел.

— Ну, — сказал он, — и как Дафна?

Дафна не ответила. Ее голова казалась обнаженной и влажной, как белый орех, лежащий под дождем и снегом. Она то и дело поднимала руку, чтобы ощупать кожу головы, но последние маленькие темные пряди волос пронзали ее руку ядом желания их отрастить и отсутствия времени. Она сняла чехол для чайника и повесила его в спальне, над фотографией Джеральда Уиттекера, загорелого миллионера.

— Ну, Дафна, — сказал доктор, — у тебя посетители. Твой брат и отец. Ты им рада, верно? А завтра мы тебя покатаем на машине, отвезем в другую больницу, и ты заснешь, а когда проснешься, тебе станет лучше. Мы тебя изменим, чтобы ты могла жить в мире и быть такой же, как другие люди. Ты ведь обрадуешься, верно?

Он подошел ближе, мило улыбаясь.

— И кто знает, может, через несколько лет ты будешь жить в собственном маленьком домике, в кругу семьи? Нормальной жизнью, а, Дафна?

Затем, не переставая улыбаться, он похлопал Дафну по плечу и вышел, а медсестра последовала за ним, заперла дверь и заглянула в скважину, проверяя, как себя ведет пациентка.

Дафна сидела на матрасе в углу и слушала пение Мэтти. Мэтти всегда лежала в постели,

искалеченная, с шишкой на затылке и лицом, настолько перекошенным, что оно не было похоже на лицо, и пела, издавая звуки, будто шарики катаются в воде, стуча и булькая, пение было ненастоящее, но Мэтти умела только так. Дафна слушала ее и уснула, а проснулась, когда дверь снова отворилась и вошла медсестра с письмом от Цыпки.

Медсестра улыбнулась.

— Сколько к тебе сегодня внимания, — сказала она. — Можно подумать, у тебя день рождения, и доктор наведался, и гости, и письма, придется подготовить тебя к приему гостей и надеть на голову шляпку или берет, чтобы твои отец с братом не увидели и не расстроились.

Медсестре стало любопытно.

— Дай-ка *я* посмотрю, — сказала она, снимая шапочку, которую другая медсестра надела на голову Дафны. Медсестра коснулась кожи головы.

— Фу, — сказала она, вздрагивая. — Фу.

— А теперь открой письмо, Дафна, или я прочту его тебе, если хочешь.

Медсестра открыла письмо и прочитала:

Дорогая Дафна, это просто записка, ты же знаешь, как я отношусь к письмам. Я не писала тебе с тех пор, как умерла мама. Но теперь пишу, ко-

роткую записку, чтобы сказать, как я счастлива, что тебя собираются вылечить, и что скоро ты будешь жить нормальной жизнью во внешнем мире. Не бойся операции, ладно? Нечего бояться. Делай все, как говорит доктор, и когда тебе станет лучше и все это закончится, мы сможем тебя навестить, потому что мы переезжаем жить на юг. А теперь я желаю тебе удачи, Дафна. Помни, когда ты выздоровеешь и изменишься, то сможешь жить, как я, свободной и счастливой. Шлю тебе всю нашу любовь.

P. S. Тебе дают что-нибудь вкусненькое? Посылаю коробку пирожных, покупных, а не домашних. Эти крестики под письмом на самом деле поцелуи детей, которые все время спрашивают меня о тете Дафне, хотя с тобой ни разу не встречались.

Люблю. Цыпка.

Медсестра пыталась отдать письмо Дафне, но та накрыла голову одеялом и сидела неподвижно, отказываясь брать письмо. Тогда медсестра оставила его на кровати со словами:

— Помни, мы тебя подготовим к приему посетителей.

Она вышла, заперев дверь, а Дафна взяла письмо и разорвала его на мелкие, как снежинки,

кусочки.

42

Они сидели в поезде бок о бок, Тоби стоял у окна и смотрел на вихрь обнаженных ив, сухих листьев и древних бревен, пойманных в ловушку и отрастивших бороды; и на сломанные заборы, усеянные клоками овечьей шерсти и комками земли; и на шаткие фермы, безглазые, с открытой дверью на фоне желтого пятна коридора, в окружении увядших бутонов роз и лилий. Казалось, снаружи не осталось людей, только огромные страшные белые, красные и серые призраки крупного рогатого скота, бродящие по растрескавшейся земле, и запряженные ломовые лошади, неуклюжие, готовые вспахивать землю, никем не направляемые, на пространстве, исчерченном железными лентами, по которым летит светящийся поезд; и испуганная бледность овец, их паника и марево серого облака.

Нет, подумал Тоби, людей не осталось.

Он взглянул на своего отца, дремлющего рядом в неудобной позе, ему некуда было опереться рукой, так что он часто просыпался, ошеломленный и встревоженный. Отец открыл глаза и посмотрел на Тоби.

— Ты испортишь свой хороший костюм, — сказал он, — если будешь туда руку совать.

Тоби стряхнул сажу с рукава.

— Ничего, — сказал он, — сойдет.

Отец поерзал в кресле.

— Я думал, на месте у прохода тоже можно будет поспать. Никак не могу устроиться. Ты должен был уступить мне место у окна.

— Нет, — сказал Тоби. — *Я* хотел у окна. И я сел сюда первый.

Его отец хотел сказать: Я старше, я первый родился; но не стал говорить. Он размышлял о том, куда они едут, что они скажут и как все будет. Найдет ли он правильные слова? А если он испугается? Он надел лучший костюм и пальто, которое стоило четыре фунта, с воротничком и галстуком, и начистил туфли до ежевичного блеска. А в руке держал пустой мундштук, вертя его между большим и указательным пальцами.

— Я закурю, — сказал он. И открыл пачку, вставил белую палочку, как свечу в подсвечник в серебряной оправе, и зажег ее.

— Это вагон для некурящих, — напомнил ему Тоби.

— Ну, я ведь тебя предупреждал.

— Придется открыть окно, — сказал Тоби и при-

нялся бороться с задвижкой, безуспешно. — Как и все окна в вагоне, — сказал он с отвращением.

— Окна старого типа открывались лучше, — сказал отец. — А у новых вечно механизм заедает. Помню, старые откроешь, и можно высунуть голову, что-нибудь посмотреть. А новые, как и все новое в наши дни, красивые, но бесполезные, когда доходит до дела. Зачем вообще отказались от ста…

— Смотри, — сказал Тоби, — акация, или акация, которая начинает цвести?

Боб Уизерс прильнул к окну.

— Пропустил. Нам сегодня нельзя опаздывать.

— Нет. Интересно, во сколько завтра операция?

— Не знаю, утром, наверное, — ответил Боб, который и правда понятия не имел, во сколько, но чувствовал себя лучше, говоря что-то определенное. — Да, скорее всего, утром.

— Думаешь, мама бы это одобрила?

— Тсс, не так громко, — сказал Боб, украдкой оглядываясь по сторонам. — Не нужно, чтобы весь мир знал, куда мы едем и что случилось.

Он вынул сигарету изо рта и держал ее концом вверх, так что мундштук походил на коричнево-серебристую веточку с растущим из нее белым

бутоном, из него вилась струйка дыма.

— Тебя оштрафуют, если поймают в некурящем, — сказал Тоби.

— Мы об этом уже говорили. Твоя мать одобрила бы. Я знаю, твоя мать одобрила бы. Доктор сказал, что операция на мозге — единственный шанс превратить Дафну в нормального человека, полезного гражданина, способного голосовать и участвовать в жизни, без странных фантазий, которыми она сейчас мучается.

Речь вышла длинной, и Боб испугался, услышав ее от себя, как будто она ненастоящая, а говорил не он. Все это он услышал от доктора, человека в длинном белом халате и темных очках, в комнате, где в углу стоял шкаф, заполненный папками. Доктор нашел карту Дафны и водил пальцем вверх и вниз по страницам, как человек в банке, подсчитывая суммы, хотя теперь уже есть машины для подсчетов; и он повернулся к Бобу Уизерсу и сказал строго, почти обвиняюще, используя длинные слова, которые Боб не мог понять и которые его напугали. И Боб едва взглянул на бумагу и дал согласие на операцию, поверив доктору на слово, потому что, в конце концов, доктор *знал*. И выходя за дверь, Боб Уизерс назвал доктора сэр, так он его боялся. Он был рад, что никто из

бывших товарищей по работе его не видел, Боба Уизерса, бойкого парня, который мог постоять за себя на курящих концертах и чья жена трудилась на него, как рабыня. Поговаривали, что она даже чистила ему каждое утро ботинки.

Вот это жена!

— Да, — сказал Боб. — Твоя мать одобрила бы. Дафна изменится, вроде как. Я имею в виду…

Он не знал, что имел в виду, поэтому вздохнул и закрыл глаза, притворившись спящим, но прислушиваясь к скороговорке поезда, которую выучил еще мальчиком,

Кусок красной кожи, красной кожи кусок,

Кусок красной кожи, красной кожи кусок.

Затем и скороговорка изменилась:

Червяк чудит, в трубе сидит, чудак дымит сигарой дубовой, но почему-то все предложение не умещалось, и он заставил поезд сказать,

Червяк чудит, червяк чудит, червяк чудит…

И почувствовал такую тяжесть и усталость, что ему хотелось заснуть навеки и не просыпаться, потому что Эми умерла, и ничего больше не осталось.

Поезд внезапно остановился, и Тоби с Бобом, оба задремавшие, открыли глаза. Тоби выглянул в окно.

— Еще нет, — сказал он. — Могу сходить за напитками. Будешь что-нибудь? Чашку чая?

— Можно, — сказал Боб, не шевелясь. Ему было холодно и сыро, словно червяку.

Тоби пошел в буфет, пробиваясь сквозь толпу, и купил две чашки чая и две сахарные булочки. Он подсластил чай и помешал его чайной ложкой, привязанной к прилавку, и вернулся в вагон. Ему тоже было тошно и странно, а чай был с привкусом водорослей и глины, как будто заварен в мире без людей.

Почему, подумал он. Вкус нецивилизованный.

Он посмотрел в окно на толпу людей, сражавшихся друг с другом у стойки буфета, и на торжествующую вереницу людей удовлетворенных, отдохнувших и мечтательных, облокотившихся на деревянную скамью рядом с пустыми чашками, бутылками из-под шипучки и разбросанными пакетами от бутербродов, и он подумал с нарастающим страхом: Это не цивилизованно. Они не люди. Людей нет. Они крупный рогатый скот и одурманенные перепуганные овцы, мимо которых они проезжали много миль назад, в пустынных загонах и болотах. Поезд отправляется через полминуты, сказал человек в громкоговоритель, однако растерянные люди будто и не

заметили, они выглядели слишком усталыми, чтобы двигаться, наполненные глиной, водорослями и красной бурлящей болотной водой. Но раздался гудок поезда, и, конечно же, в мире были люди, и они поспешили к дверям вагона, пронзительно выкрикивая друг другу прощания.

Поезд снова тронулся, и Боб поставил чашку и блюдце на пол.

— Мы можем положить их в сумку, и никто не заметит, — сказал он.

Тоби не ответил.

— Следующая остановка наша.

— Зачем ты все время это повторяешь, — возмутился Боб. — Конечно, следующая наша. Разве я сказал хоть слово против?

Они сняли небольшую сумку с полки и сели, выпрямившись. Боб надел твидовое пальто, которое Нетти прислала, когда умер ее муж. Она написала Бобу письмо, в котором говорилось: Приходи и помоги мне все сжечь.

И Боб отправился в город и наблюдал, как Нетти, его сестра, надзирательница на фабрике по производству пальто, сжигает остатки своего погибшего брака.

— Она бросала в огонь бутылочки с солью для ванн, одну за другой, — сказал он Эми, когда

вернулся.

И Эми сказала:

— Для чего ей могло понадобиться столько бутылочек с солью для ванн? И зачем их сжигать? Девочкам бы они понравились, Дафне или Цыпке. Подумать только, бутылочки с солью для ванн. Какие, Боб?

— О, лавандовые, с цветами на этикетке. И старые пасхальные яйца, и коробки с конфетами, которые засохли и пахли соломой и картоном.

И Эми сказала, недоумевая:

— О боже.

Боб показал ей пальто и другие вещи, которые дала ему Нетти. И Эми сказала:

— Это твой размер, Боб. Носи его.

И Боб сказал:

— Я скорее умру, чем надену это вычурное пальто.

И вот он носит пальто и не умер, хотя и не задумывается об этом.

43

Они сидели в жуткой тишине на краю длинного кожаного дивана без спинки, и у них болели спины, и все же они продолжали сидеть прямо, глядя вперед, на сильный огонь, который ярко и холодно горел, как цветастый ледник. От камина не веяло теплом, и Тоби с отцом вздрагивали, глядя сквозь тяжелый защитный экран на пламя, безуспешно бушующее в железной клетке.

Тоби заговорил.

— Холодно, — сказал он.

Ему ответила старуха, сидевшая рядом на диване.

— Тепло. Вот прекрасный огонь, — сказала она, указывая на пламя.

Она приехала навестить дочь, сказала она, приезжала каждую неделю, знала распорядок дня и привыкла к местным странностям. Рядом с ней стоял коричневый бумажный пакет, полный пирожных с кремом, и термос с домашним чаем. Они с Альфредой собирались устроить пикник.

— Каждый раз, когда я приезжаю, мы устраиваем пикник, — сказала она Тоби. — Альфреда очень любит эти пирожные и предпочитает чай,

приготовленный дома, а не в больнице. Ее можно понять, верно?

Последнюю фразу она сказала Бобу, вцепившемуся в корзину, которую они с Тоби несли на холм, и спорили, как дети, кто ее понесет:

— Дай мне, нет, дай мне. Почему это ты должен нести?

— А почему *ты* так хочешь ее нести?

— Чтобы мне было за что держаться.

В корзине лежал пакет с апельсинами и бананами и шоколадный торт.

— Да, холодно, — повторил Тоби.

Женщина с любопытством посмотрела на него. Она собиралась напомнить им обоим, ему и старику, который, судя по всему, дрожал, хотя сидел, закутавшись в нарядное твидовое пальто, что перед ними прекрасный огонь, и чего еще желать в такой студеный день, когда зима все еще держится?

— А зима держится, — сказала она.

Тоби сказал громко:

— Да, зима держится, у нее зубы, как у угря, внутри, потому и держится. Все, что она проглотит, никогда не вырвется из черной пасти.

Женщина растерялась и подумала: Это, должно быть, семейное. Я заметила, некоторые из посе-

тителей еще более странные, чем пациенты.

Боб вдруг сказал:

— Не надо, Тоби. Ради бога, помолчи. Не говори такое вслух! Подумай о своей бедной матери!

Другие посетители в комнате молча смотрели на Боба и Тоби. А потом медсестра привела Альфреду, и мать Альфреды подошла к дочери, чтобы сесть рядом с ней. Альфреда была карликом трех футов ростом.

— Привет, шлюха, — хрипло сказала карлица и нырнула в пакет за кремовыми пирожными, которые проглотила одно за другим, не переставая говорить, а мать сидела и смотрела на нее. Когда Альфреда доела пирожные, она подняла термос.

— Что это?

— Это чай, — сказала мать. — Настоящий домашний чай. Выпьем по чашечке, а?

— Иди к черту со своим чаем. Что еще принесла?

— Вот новая пара штанов от тети Молли.

— Штаны, штаны, кроме штанов ничего другого придумать нельзя? И когда меня отпустят домой?

Она наклонилась к матери, глаза ее наполнились презрением. Ее мать улыбнулась.

— Доктор говорит, довольно скоро, Альфреда.

— Ой, иди к черту.

И Альфреда встала, подошла к двери и позвала сиделку.

— Во что ты меня вырядила ради гостей, а тут всего лишь старая шлюха, — позвала она. — Идем отсюда.

Сиделка, всегда дежурящая поблизости, отвела Альфреду обратно в палату. Мать Альфреды взяла свою сумку и, весело улыбнувшись Тоби и Бобу, пошла с остатками пикника к сиделке у двери, чтобы ее выпустили.

А Тоби и его отец сидели и ждали, когда приведут Дафну. Боб Уизерс, оглядывая комнату с группками посетителей и пациентов, думал, Дафна никогда не будет такой, как они, ни за что. Она не станет браниться без конца, она будет совсем другой. Что я ей скажу? Интересно, как она восприняла смерть матери? Нужно об этом говорить? Господи, нет.

А если она меня не узнает?

Он наклонился к Тоби.

— Слушай, Тоби.

Тоби сидел в полусне, припадок начинается, подумал он, еще и в таком месте, но его уже не остановить. Он знал, что ему не следовало приезжать, *а потом скот в загонах и на вокзалах*

пьет чай из своих чашек с синей окантовкой; их глаза и лица, и рога растут, как деревья из слоновой кости, что он мог сделать, чтобы это остановить; а затем угорь, который зима, пожирающий листья и цвет, и если сунешь руку или сердце в горло зимы, чтобы вернуть то, что было отнято, то рука и сердце разорвутся на куски. Начинается припадок, подумал Тоби, а у него не было приступов уже давно, хотя не очень давно, начинается приступ, а что насчет Дафны, а его мать тоже здесь, занимая так много места. И вещи на продажу, на помойке, не на этой помойке и не на той помойке, а на какой тогда; ну конечно, это припадок, и кто его остановит?

— Слушай, Тоби.

Тоби вдруг рухнул на пол; его тело корчилось, глаза растворились в пустоте, а лицо было похоже на тяжелую ягоду чернослива. Эми Уизерс в таких случаях говорила:

— Вынь зубы, Тоби. Вынь зубы.

И его клали на диван, и накидывали на него пальто, чтобы согреть, а потом давали чашку чая и говорили:

— Это пройдет, Тоби. Это не навсегда, ты вырастешь и будешь как другие мальчики.

Отец опустился рядом с ним на колени и ска-

зал:

— Тоби. Тоби.

Бананы упали на пол вместе с апельсинами, а шоколадный торт лежал у огня, который, наверное, был теплым, потому что шоколад крутился и корчился, выпуская наружу свою странную жидкую сущность. И сиделка, стоявшая у двери, бросилась к Тоби, вынула его зубы и положила их на каминную полку, и, взяв обернутую марлей деревянную палочку, вроде палочки марципана, сунула Тоби в рот, и его рот яростно жевал палочку, пока приступ не закончился, и он погрузился в глубокий сон, его лицо выглядело умиротворенным, все еще красным, а руки сжимали корзинку, теперь уже пустую, которую они несли и из-за которой ссорились, потому что было за что держаться.

Сиделка не повела и бровью.

— У нас так каждый день, — сказала она Бобу. — Вы кого-то ждете?

— Свою дочь, Дафну Уизерс.

Сиделка удивилась.

— О, — сказала она. — О, я узнаю.

Она ушла в кабинет, и Боб слышал, что она звонит по телефону. Потом вернулась.

— Идите через эту дверь. Медсестра вас про-

пустит.

— А как же Тоби?

— Боюсь, он не сможет идти, а когда он проснется, будет поздно.

— Не могу же я оставить его здесь.

Боб Уизерс боялся. Он слышал о людях, пропадавших в таких больницах, а потом, когда они говорили, что они только посетители, их не выпускали, и никто им не верил. Ведь в такой больнице могло случиться что угодно, в конце концов, тут еще темные века.

Сиделка угадала его опасения. Она видела панику на лицах многих посетителей.

— Не беспокойтесь. Мистер Уизерс будет здесь, когда вы вернетесь. Мы не можем привести Дафну сюда, потому что она особенная.

— Что?

— Особенная.

Для Боба Уизерса особенными были дешевые продукты или одежда, которые по пятницам можно было найти в некоторых магазинах.

Медсестра провела его мимо рядов лежащих в постелях старух, спящих или, может быть, мертвых, с открытым ртом и ввалившимися щеками, и он подумал: Так вот куда кладут стариков.

И они вошли в маленькую комнату с зареше-

ченным окном, двумя стульями и столиком, на котором стояла ваза с фиалками, сделанными из гофрированной бумаги, хотя Боб сначала не заметил этого и наклонился, чтобы понюхать, думая: Рано зацвели, наверное, оранжерейные.

— Они искусственные, — сказала медсестра. — От настоящих не отличить, да?

Она предложила Бобу один из стульев и вышла из комнаты. Боб сел. Ему нечего было подарить Дафне. Бананы и апельсины он не взял, а шоколад растаял. Как же начать разговор? Он репетировал:

— Ну, Дафна, значит, завтра тебе сделают лучше. И тогда все закончится.

Что закончится? Он не понимал. Для него все уже закончилось, так что какая разница, и вот он сидит в психушке, на нем пальто Лу, еще пахнущее солью для ванн.

Он попробовал снова:

— Привет, Дафна. Или лучше Даффи?

Почему они задерживаются?.. Сердце билось слишком часто, и руки тряслись, старость брала свое, и он чувствовал себя усталым, очень усталым, ему некуда идти, потому что дом уже мертв, а мороз погубил ранние сливы, и он вспомнил, как спрятал сковороду, на которой Эми пекла

оладьи, в чулан за граммофоном и старым кухонным столом, потому что не мог больше на нее смотреть.

44

Если бы сестра Даллинг не носила накрахмаленную униформу и струящуюся белоснежную накидку, пусть и не свадебную, она походила бы на буфетчицу. Крупная, с бледно-рыжими волосами и неприятным жирком на теле, она старалась не перекусывать между приемами пищи и курила, чтобы не чувствовать голода; и пока медсестры грызли сладости и поглощали пирожные за утренним и послеобеденным чаем, сестра Даллинг говорила:

— Нет, спасибо, я откажусь.

За исключением редкого печенья, когда доктор заходил на чашку чая, и тогда:

— Как вам чай? Хотите больше сахара? Может, чуть разбавить? — говорила она доктору, который сидел на лучшем стуле в кабинете и пил из лучшей чашки с красной ниткой, обвязанной вокруг ручки, чтобы отличать от чашек пациентов.

И пока доктор пил чай и улыбался, наслаждаясь своей славой, сестра Даллинг вспоминала слова, трудные слова из Медицинского словаря или Краткого оксфордского словаря, которые она дер-

жала в столе, и говорила очень солидно. В других случаях она использовала слова, более подходящие переодетой буфетчице, но также и медсестре, которая умела разговаривать с дикими людьми и приручать их, чтобы они следовали за ней, слушались ее и дарили подарки: стебель цветка, пустой конверт, шнурок, вырванную из журнала фотографию настоящих людей, живущих в настоящем доме, где двери и окна открываются, и ты знаешь, где ключ, висит на гвозде в судомойне.

В тот день, когда Боб и Тоби Уизерс пришли навестить Дафну, сестра Даллинг сама одела пациентку, выдав подопечной юбку и свитер, новые чулки, рождественские штаны, приготовленные и отмеченные белой лентой, и шляпку с широкими полями, единственную, которую она смогла найти в гардеробной, чтобы прикрыть голову Дафны на случай, если ее родственники испугаются, увидев лысину.

— Тебе идет шляпка, Дафна. Ты похожа на кинозвезду.

Дафна в мертвой комнате посмотрела на красивую шляпку, видя только коричневую веранду и солому, торчащую из карниза, и ощущая тяжесть снега, который всю ночь падал на коричневую крышу. Под шляпкой она чувствовала себя в

безопасности.

Теперь ей не страшен дождь, и ее матери не придется стоять у двери и кричать:

— Спускайся, озорная птичка, дождь идет!

Тогда Дафна улыбнулась, вспомнив, что она беспечный воробушек, и швырнула шляпку в угол.

Сестра Даллинг цокнула языком.

— Тебя ждет отец, — сказала она. — Ты же не хочешь его разочаровать? Он приехал на поезде.

Приехал на поезде? Если едешь на поезде, не мудрено разочароваться, потому что он никогда не везет тебя туда, куда тебе хочется, он везет все дальше и дальше в пустынный мир болот. Поезда везут до конца. Мой отец уже разочарован, увидит он меня или нет, потому что он сидит в своей хижине на болоте, с лицензией на смерть в руке и ружьем, готовым выстрелить при первых сигналах мира. Снег падает мне на голову. Наверное, будет вьюга.

— Пойдем, Дафна.

Сестра Даллинг снова надела шляпку на голову Дафны и провела ее в комнату, где сидел Боб Уизерс, напуганный и уставший, покачивая ногой, чтобы чем-то заняться.

— Я буду в соседней комнате, если понадоблюсь, — сказала сестра с доброжелательной

улыбкой.

Дафна стояла в углу комнаты и смотрела на мужчину, сидящего на стуле. Его лицо было бледным и серым, как будто он много лет ходил по пыли, и та прилипла к складкам его одежды, покрыла туфли и осела в волосах, сделав их седыми. Он стоял в небе, подумала она. В середине облака. Подметал рушащийся каменный дом. У него нет жены, иначе она подметала бы дом и носила фартук, за который дети могли бы цепляться и плакать, когда им больно.

Я бы хотела, подумала Дафна, чтобы он взял щетку и вычистил свой костюм. И почистил ботинки. Он сидит, грязный и серый, облизывает губы и не собирается говорить.

Кто он? Он ждет, что я заговорю?

Сжав губы, она села на пол, предварительно сняв из вежливости шляпку, как ее учили, когда солнце стояло в небе рано утром; и вгляделась в лицо серого человека. Когда она сняла шляпку и положила ее, словно хотела шляпкой поймать вьюгу, рот мужчины приоткрылся, а лицо сморщилось, будто он вот-вот заплачет. Так же изменилось лицо ее отца, когда он услышал, что Фрэнси сгорела, пришел домой и увидел, как они все держатся друг за друга, словно заколдован-

ные; хотя они и не танцевали по булыжникам волшебной улицы, а плакали. И серый человек в кресле, изменив лицо, чтобы стать похожим на плачущего отца Дафны, крикнул:

— О нет. Боже мой, нет!

И смотрел туда, где были ее волосы. С широко раскрытыми глазами и испуганным лицом.

Затем он сказал:

— Дафна. Все будет хорошо.

Но Дафна знала, что он говорит сам с собой, убеждая себя не волноваться, хотя странно, как он узнал ее имя и откуда знал, что у нее должны быть волосы. А у нее должны быть волосы. О да, подумала Дафна, у меня должны быть длинные волосы, чтобы расчесываться, как русалка. Однако волос у меня нет, их забрала женщина из подземного мира, я надену шляпку и скрою, что я лысая, как лужайка перед домом, или городской парк, или место для пикника.

Она надела шляпку, а серый мужчина улыбнулся и ласково сказал:

— Привет, Дафна. Холода так и стоят. Зиме не видно конца.

Дафна улыбнулась ему, он такой странный и серый, как мел.

Мужчина улыбнулся в ответ и сцепил руки.

— Теперь уже скоро, — сказал он, — ты скоро будешь дома.

Дафна вдруг заговорила так громко, что медсестра заглянула в дверь:

— Что значит дома? Мама и папа, и Фрэнси, и Тоби, и Цыпка дома?

Медсестра отошла, и серый человек снова расцепил руки и облизнул губы.

— Да, — сказал он. — Они все дома.

— Тогда скажи их. Скажи их.

— Ты про имена?

— Произнеси их.

Серый человек повторил имена: мама и папа, и Фрэнси, и Тоби, и Цыпка.

Дафна слушала и думала: Он мошенник. Он произносит имена, будто их заучил, например, горы: Римутака, Тараруа, Руахине, Кайманава; как названия городов, где построены шерстяные фабрики: Брэдфорд, Лидс, Галифакс, Хаддерсфилд. Он в сговоре с шерстяными фабриками и маленькими комнатами на склоне горы.

— Я ненавижу тебя, — сказала она. — Уходи. Снег слишком тяжелый и падает крест-накрест, как гобелен, так что уходи.

Она подошла и увидела, что серый человек дрожит.

— Назови имена, — сказала она, — как будто ты их не знаешь. Скажи их новыми и только что родившимися.

Он медленно повторил имена усталым голосом: мама, папа, Тоби, Фрэнси, Цыпка.

Затем пошел к двери. Она последовала за ним.

— Что делает папа? — спросила она.

Он колебался.

— Твой отец занимается садоводством, — сказал он. — Мороз уничтожил картофель.

— Что делает Фрэнси?

— О, Фрэнси. Ну, Фрэнси сейчас нет дома. Она на работе. У Мавинни.

— Что она делает?

— Ох. Думаю, чистит картошку.

— А что делает Тоби?

— Продает тряпье. Он в своем грузовичке.

Бобу Уизерсу казалось, что он во сне, играет в какую-то фантастическую салонную игру и не должен ошибаться.

— А что Цыпка делает?

— Играет со своими куклами, одевает их и двигает туда-сюда.

— У нас никогда не было кукол, — сказала Дафна. — У нас были прищепки, они гораздо лучше. А что мама делает?

— Твоя мать, — сказал Боб Уизерс, — печет оладьи.

Потом он закрыл лицо руками и вышел из комнаты, а медсестра с любопытством смотрела, как он идет по коридору, и его пропустили через то место, где лежат старухи. Наконец, он попал в комнату, в которой оставил Тоби.

Он ожидал, что комната исчезнет или каким-то образом изменится, будто она ему приснилась, и там не будет людей, сидящих с корзинами с едой, поедающих пирожные с кремом и пьющих чай из термоса; но все осталось по-прежнему, за исключением того, что Тоби сидел, сгорбившись, у огня. Он окоченел, как человек, прислонившийся к леднику. И спросил о Дафне:

— Как она, папа? Ты быстро. Как ей тут живется? Сиделка говорила, что они играют в теннис и танцуют.

Боб поднял пустую корзину.

— Где фрукты?

— Отдал сиделке. У некоторых пациентов нет посетителей.

— Нам лучше уйти. Уже поздно. Я слышал, кого-то не выпустили из такой больницы, потому что стало поздно.

— Как Дафна?

Тоби встал, чтобы уйти, и дрожал от холодного горного ветра, а отец с опаской взглянул на него.

— А ты как?

— Дафна тебя узнала, разговаривала с тобой? Медсестра сказала, что некоторые даже не узнают своих родителей.

— О, — быстро ответил Боб, — Дафна не такая. Она другая. Она не похожа на этих странных людей. Совсем другая и рассуждает здраво.

— Как она выглядит? Волосы так и падают на лицо?

Боб рассмеялся.

— Верно, они ей все время мешают. Она убирает волосы с глаз, совсем как Цыпка когда-то.

— Но операция сделает еще лучше?

— Конечно.

А в маленькой комнате Дафна, раздетая и рано уложенная в постель, готовая к завтрашнему дню, думала: Кажется, он солгал мне о матери. Думаю, она стирает одежду и штопает носки, а не печет оладьи. И я думаю, тот человек мой отец, как бы он ни притворялся, что мы не родственники, и даже не поцеловал меня, и не принес пакет фруктов и шоколадный торт; это был мой отец, и он не смог меня обмануть. А моя мать сейчас сидит дома, вставив чашку без ручки в толстый серый

носок брата, и штопает дырку, крест-накрест, крест-накрест, словно снег падает, как обрезанная белая шерсть, сквозь пустое небо. А моя мать щупает одежду, бурлящую в котле, и подбрасывает в огонь щепки от ящиков и сосновые шишки, а кошка обвивается вокруг ее тяжелых варикозных ног, и ее ступни двигаются, как нагруженные корабли, в вечном путешествии по морю из дерева и бетона, где единственные паруса это простыни, пижамы и полотенца, привязанные к измученному зимнему лицу сопливого солнечного света.

Все так, за исключением того, что моя мать умерла, а завтра умру и я, когда снег пойдет крест-накрест, чтобы заштопать воображаемую расщелину моего мира.

Эпилог
Кто-то из наших знакомых?

45

Была суббота. Расположившись в углу застекленной веранды, директор шерстяной фабрики и его жена читали утреннюю газету. Директор лежал на резиновом матрасе. Сегодня он надел шорты. Его коричневая кожа плотно прилегала к телу, как у китайского крыжовника, только отрастившего руки и ноги и покрытого волосками. Его жена сидела в шезлонге, ее волосы были перевязаны разноцветным шелковым шарфом, который скрывал и удерживал на месте дюжину бигуди и вздымался над головой двумя шелковыми пиками, похожими на радужные рожки.

Директор закрыл лицо газетой.

— Жарко, — сказал он жене из-за стекла. — Я сейчас тоже улягусь за порцией фиолетовых лучей.

Его жена подалась вперед.

— Дай мне, — сказала она. — Я не читала.

И она забрала газету.

Директор закрыл глаза.

— Там ничего нового.

А его жена воскликнула:

— Ты только послушай! — И прочла: —

СЛУЖАЩИЙ
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСВОИЛ КРУПНУЮ СУММУ.

— Кто-то из наших знакомых? — спросил директор шерстяной фабрики.

— Нет. А его жена покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного. Куда катится мир?

Их звали Альберт Крадж и Фэй Крадж, хотя в газете указали другие имена.

И жена директора снова ахнула.

— Ты не рассказал мне про убийство, — возмутилась она. — На странице новостей.

— Кто-то из наших знакомых? — спросил ее муж, полусонный и разомлевший, как тепличное растение.

— Нет. Женщину из высшего света нашли с простреленной головой, а ее мужа арестовали за убийство. Куда катится мир?

Их звали Тереза и Тимоти Харлоу, хотя в газете указали другие имена.

И жена директора, переворачивая страницы, проговорила:

— Ты это видел? Эпилептик осужден за бродяжничество и отсутствие средств к существованию.

— Кто-то из наших знакомых? — спросил ди-

ректор.

— Нет, — ответила жена.

И звали его Тобиас Э. Уизерс, хотя в газете указали другое имя.

— Слушай, — сказал директор, — не могла бы ты прочесть что-нибудь интересное, я имею в виду, что-нибудь поприятнее? Вы, женщины, вечно жаждете преступлений и кровопролития!

Его жена изучала светскую хронику.

— Вот, это должно тебя заинтересовать, — сказала она. — Тут пишут о собрании, на котором поздравляли одну из твоих работниц с повышением до помощника мастера. Ты, наверное, тоже там был?

— Нет, — сказал директор. — Читай дальше. Кого поздравляли?

— О, она совсем недавно начала работать на фабрике. Похоже, она долго болела, тут не сказано, чем именно, однако выздоровела после операции. Надо же, как быстро ее повысили до помощника мастера! Она, видимо, увлечена своей работой. Ей подарили наручные часы с тремя бриллиантами внутри.

— Как ее зовут? — спросил директор.

И звали ее Дафна Уизерс, хотя в газете указали другое имя.

— Что там еще? — спросил директор.

— Ох, ничего. Ты прав, в газете действительно ничего нового. Если не считать фотографии.

— Какой фотографии?

— Дома престарелых и некоторых его обитателей. Посмотри на этого старика, сидящего на солнце. Он даже не облысел.

— Кто-то из наших знакомых? — спросил директор.

— Да, возможно, ты о нем слышал. Это старик Боб Уизерс.

А Боб Уизерс сидел в плетеном кресле на солнце, глядя на гавань Уаймару, потому что Дом престарелых построен на мысу, и днем и ночью обитатели двигались в такт волнам. А Боб оглох и сидел в одиночестве, и слюна текла по его подбородку, и голос его истончился, как ниточка, и жаркий день согревал его так же, как печка, готовая для оладий, только если есть кому их делать.